

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

10/2023



В номере:

Голубое пятно

Повесть «Локус церулеус» Александра ЗАЙЦЕВА возвращает читателя в девяностые, которые для каждого были своими — в диапазоне от наконец обретенного счастья до конца света. Вот и герой повести проживает это время по-своему: в его жизни смешиваются ужас, радость освобождения и юмор мироздания.

Путешествие Ильича

«В Новостаровку Ленин ехал на грузовой машине марки “ЗИЛ”. Голова вождя выпирала в пустоту за пределы заднего борта, висящего на цепях параллельно земной поверхности. Вдохновенно прищурившись, Ленин смотрел бронзовыми лукавыми глазами на скомканную в правой руке бронзовую кепку». В рассказе Николая ВЕРЁВОЧКИНА «Герой без звезды» звучит бодрый рекем по простодушной эпохе, когда — и смех, и грех — идеологическая операция по транспортировке монумента из одной богом забытой деревеньки в другую оборачивается фантасмагорией с участием идейных милиционеров и одной несознательной коровы.

«Прими сотрудничество времени»

Интонация гражданской лирики пробивается в стихах Максима ГЛАЗУНА: «не в моменте живём а в ответе/ верь дедам верь дедам верь дедам». Острый взгляд и слух Ганны ШЕВЧЕНКО точно улавливают подробности будней и быта, которые «с поэзией едва ли/ соприкоснуться бы могли». Обычная жизнь, ее «пейзаж» и «звукоряд» органично входят и в стихи наших дебютантов — Анатолия АРЕФЬЕВА: «Посреди травой заросших клумб/ здесь гнездятся лебеди из покрышек...» и Александры МАЛЫГИНОЙ: «Хлопают двери, слышен собачий лай,/ Так многозвучен этот панельный рай». И совсем иной поэтический регистр у Татьяны СТОЯНОВОЙ, которая напоминает, что «строчка стиха — как прощение./ Или как чудо».

На пересечении литературных миров

«А что, куда мне торопиться/ Когда меня никто не ждёт?/ В блокноте белую страницу/ Моя рука перевернёт// Строчи, строчи рука-царица!/ И жизнь покажется легка/ И пляшут строчки будто лица/ Рука... река... пока... века...» Впервые публикуются «взрослые» стихи замечательного детского поэта и прозаика Ирины ПИВОВАРОВОЙ. И это — открытие, новый голос в русской поэзии. О том, почему это открытие происходит только сейчас, о жизни, судьбе и стихах Ирины Пивоваровой в рубрике «Жизнь в литературе» рассказывает ее сын, писатель и художник Павел ПЕППЕРШТЕЙН.

Что делать? Главные ответы

«Если бы меня спросили о некоей универсальной классификации философов, я бы точно выделил три категории. Те, кто интерпретирует других, занимается как бы скромной экзегезой, но — создает собственную философию (самый классический пример — Кожев). Философы, скажем так, классические. И — философы устные. Те, кто реализуется в разговоре (собственно, так и возникла философия в Греции), даже не в поучении-научении, но в вольной беседе. Мысль их наиболее неконвенциональна, свободна, эссеистична. И интересна», — начинает свой очередной разговор Александр ЧАНЦЕВ. На этот раз его герои Владимир Бибахин и Георгий Гачев.

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2023.
Подписано в печать 15.09.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ганна ШЕВЧЕНКО. Когда б не ветер, дождь и пламя. <i>Стихи</i>	3
Александр ЗАЙЦЕВ. Локус церулеус. <i>Повесть</i>	6
Николай ВЕРЁВОЧКИН. Герой без звезды. <i>Бодрый реквием по простодушной эпохе</i>	30
Максим ГЛАЗУН. Сотрудничество времени. <i>Стихи</i>	52
Владимир МЕДВЕДЕВ. Невероятные события в селе Берёзовка. <i>Повесть</i>	55
Анатолий АРЕФЬЕВ. Не теряется человек. <i>Стихи</i>	115
Гурам СВАНИДЗЕ. Жадность судьбы. <i>Рассказы</i>	118
Валерий БЫЛИНСКИЙ. Пьяная аллея. <i>Рассказ</i>	138
Татьяна СТОЯНОВА. Пока хватает жил. <i>Стихи</i>	149
Елена ЧЕРНИКОВА. Рассказы о времени	152
Марина СЫЧЕВА. Камень/море. <i>Рассказ</i>	159
Александра МАЛЫГИНА. Этот панельный рай. <i>Стихи</i>	167

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Ольга ЗАМЯТИНА. Крем-брюле. <i>Рассказ</i>	169
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий КАГРАМАНОВ. Между соперничеством и соработничеством. <i>Что должен означать разворот к Азии</i>	176
--	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Ирина ПИВОВАРОВА. Осы, совы и улитки. <i>Стихи</i>	188
Павел ПЕППЕРШТЕЙН. Стихи и рисунки Иры Пивоваровой, моей мамы	198

КРИТИКА

Мария БУШУЕВА. Сёстры в зеркалах времени. <i>Удвоение оптики</i>	228
--	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Бердыгулы АМАНСАХАТОВ. Аксакал туркменской живописи. <i>К 100-летию со дня рождения Иззата Клычева</i>	239
--	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Светлана ШИШКОВА-ШИПУНОВА. Других писателей у нас не было... (С. Чупринин. «Оттепель. События»)	241
Александр МАРКОВ. Слеза времени и апеллесова черта (Л. Оборин. «Ледники») ..	245
Вадим МУРАТХАНОВ. Странствия русского дервиша (Э. Шафранская. «Усто Мумин: превращения»)	247

NON-FICTION PRO

Александр ЧАНЦЕВ. Аскетические практики последних вопросов	250
--	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. «Шатры белеют за рекой...»	264
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Испытание на верность	268
---	-----

Summary	272
----------------------	-----

Ганна Шевченко

Когда б не ветер, дождь и пламя

* * *

Пока, задумавшись о лете,
на подоконнике сидишь,
проходит несколько столетий,
и завершаются дожди.

В окне привычные детали:
дома, берёзы, журавли —
они с поэзией едва ли
соприкоснуться бы могли

когда б не ветер, дождь и пламя,
не заводские гаражи,
и если небо есть над нами,
то Бог — случайный пассажир.

Он едет мирно между сосен,
растит уклоны за окном,
Он никого из нас не бросит
в пути запутанном ночном.

Всё, что философы сказали,
за пять столетий не пропёшь,
лишь оказавшись на вокзале,
их правоту осознаёшь.

Запахло розами в буфете,
гремит последняя гроза,
и Ахмадулина о лете
стрекочет, словно стрекоза.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась в городе Енакиеве (УССР). По образованию финансист. Автор пяти сборников стихов, в том числе «Путь из орхидеи на работу» (М., 2020), «Хохлома, берёзы и абсурд» (М., 2023), и книги прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018). Лауреат Международного конкурса имени Фазиля Искандера (2017) и Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой (2023). Живёт в Подмосковье. Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 2.

* * *

Освободив от шоппера плечо,
пробегав по бульварам целый день, я
горчичный плащ сажала на крючок
в знакомых, но непознанных владеньях.

Квадратный клён за окнами стенал,
двоился ободок кофейной турки,
и знаки подавала мне стена
мазком декоративной штукатурки.

За гранью обувного стеллажа
знаменья проявлялись постепенно,
но невозможно словом выразить
всё то, что мне транслировали стены.

Я находила замыслы вовне,
по дому шла походкой пеликаньей
и кошку обнимала, будто в ней
заложена разгадка мирозданья.

Потом стояла где-то посреди
вещами переполненной гостиной
и шторы ощущала, как дожди,
излившие себя наполовину.

* * *

Пока ты из окна
спускался по лучу,
была я влюблена
в пеньковую свечу;

она сверлила мрак,
вертелась как волчок,
она горела так,
что было горячо

ромашковым полям,
лиловой резеде,
скворцам и журавлям,
летающим везде,

калине за бугром,
что сеет дробь зари.
Однажды мы умрём.
Давай поговорим

о нежном ковыле,
о радуге любой,
о свечке на столе,
оставленной тобой

для видимости, для
того, чтобы в ночи
ворочалась земля
в сиянии свечи.

* * *

То обновляясь, то сбоя,
то носом стучаясь о берег,
идёт по руслу жизнь моя
без пафоса и без истерик.

Себя для солнца оголив
среди распущенных растений,
я обучаюсь среди ив
умению казаться тенью.

То прозябаю на бегу,
то бессознательно глупею,
не потому, что не могу,
а потому, что не умею.

* * *

Распродажа не равновелика
доброте, но приятно вдвойне,
что в Сбермаркете есть голубика
по сравнительно низкой цене.

Между сосен от мая до мая,
в глубину опустив якоря,
голубика плывёт ледяная,
вызревает к концу декабря.

Появленье её неизбежно —
бьют часы на московском кремле;

поглотить бы всю тёмную нежность,
что дрейфует по русской земле.

В магазины чернильное иго
поступает из средних широт,
голубика, шепчу, голубика,
лучезарная дева болот.

Магазины — особое место;
потребителей скидкой маня,
голубика — Христова невеста —
от распада спасает меня.

* * *

На свет явился маленький герой
в трагической рубашке с незабудкой —
он болен поэтической хандрой,
зелёной, как ахматовская будка.

Зачем-то в трансформаторы полез,
пытаясь выжать рифму из забора;
писать стихи — талант или болезнь?
И вот уже по городу на скорой

несут его пустые поезда
в сопровожденье жёлтых попугаев,
и вся литературная среда
его за это дело осуждает.

Поэты на комизм обречены.
Срастаясь с сочинённой ахинеей,
мы все перед Ахматовой равны,
но кто-то безнадежней и равнее.

Александр Зайцев

Локус церулеус

Повесть

Голубое пятно (*locus coeruleus*): по мнению нейрофизиологов, от него многое зависит. Работает активно — человек идёт на риск через сильный стресс в надежде на положительный результат.

Работает слабо — человек складывает лапки, запрограммирован на невыполнимость задуманного, безысходность и чёрную тоску. (Читал в журнале.)

Я всегда был ближе ко второму варианту, но без особой тоски.

Значит ли это, что никогда не *пойду на риск через сильный стресс в надежде на положительный результат*, пусть и заранее ощущая безысходность?..

В нашей голове много диковинного и помимо голубого пятна. Воспоминания, например. А бывает — появляется небольшая точка, незаметно, безболезненно увеличивается, потом начинает подавливать на соседние структуры...

Рома так и сказал — «подавливать на соседние структуры». Он всё сообщил мягко и ровно, показывая результаты исследований: вот продолговатый мозг, вот средний, а вот... Без трагического сюсюканья, без врачебного цинизма: мягко и ровно. Он и с днём рождения всегда так поздравляет — это, мол, конечно, праздник, но не такой, чтобы уж особо...

Выхожу из диагностического центра — центр краевой, поэтому всё заставлено машинами. Людей много. Надо вынырнуть на какой-нибудь простор. Сворачиваю на ул. Артёма, там остатки старого Казачьевска, иду мимо частных домов, только мне вообще-то в другую сторону, если домой. У этого каменного забора школьником целовался с девушкой.

После «девушки» мозг показывает жену и дочку — вроде пожарной тревоги. Смешно — за годы никогда ничего... Да и что о них думать: всё предельно понятно.

Дохожу до ул. Мира — как всегда, в верхней её части ветер. Она так проложена: — по курсу ветра. Ужасно захотелось есть. Возле магазина «Океан» ларёк. Наскрёб мелочи — беру пирожок с куриными потрохами. Сжевал, вытер губы. Иду вниз по ул. Мира.

Зайцев Александр Борисович — лингвист, переводчик. Родился в 1979 году в Ставрополе. Лонг-лист премии «Дебют»-2005 (короткая проза). Печатался в журналах «Новый берег», «Крещатик» и др. Автор книг прозы «Старое общежитие» (2009), «Тектоника» (2012), «Убежище Бельвью» (2020). Живёт в г. Королёве Московской области.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 7.

Если не останавливаться, можно выйти из города. Улица будет спускаться всё ниже, и на одном перекрёстке откроется панорама: холмистая долина с виднеющимся селом Надежда.

Поворот в переулок, родная школа. (Ноги привели.) Школа утоплена между холмами, без ветра чувствуется солнце. Сажусь на скамейку. Под ней шелуха от семечек.

Вот эти поколения сменяющих друг друга детей, эти волны народившихся, все куда-то исчезают, в добрый путь, говорят им, спустя десять лет одна не помнит другую, — чем это в принципе отличается от кладбища?

Дети выходят — перемена. Со стороны, наверно, я похож на педофила: потёртый дядька в плаще, смотрит... Ухожу.

* * *

Проснулся с чувством сложившегося плана.

Аля с Женечкой в кухне.

Смотрю на них через дверной проём. Умываюсь, надеваю свитер.

Аля говорит:

— Ты как?

Говорю:

— Нормально.

И так мне её жалко...

Женя давит прыщи:

— Не дави, — говорю на автомате.

Выхожу.

Аля говорит:

— Ты куда?

— По делам.

Ни единого едкого слова она мне вдогонку не скажет.

* * *

Пешком по ул. Дзержинского (самой длинной в городе) вниз, в сторону центра. Звоню из телефона-автомата:

— Да, Серёжа. Сколько лет... Серёжа, у меня к тебе просьба... Деловое предложение...

Серёжа может после двенадцати — а ещё только девять.

На ул. Дзержинского — рядом с нами, торцом к улице — «дом образцового быта» — трёхэтажный, с просторными квартирами, большими балконами и высокими потолками — из него вид на Таманский лес с прудом, в доме этом давали квартиры героям Советского Союза и т.п. В двух шагах, фасадом на улицу, трёхэтажная сталинка с эркерами и цифрами «1951» по центру фасада под крышей, на лепном шите, похожем на геральдический. В такой я провёл детство с родителями. В сталинке магазин в первом этаже, там берём хлеб. А наш дом — частный, одноэтажный, ветхий — зарылся в склон за кулисами этих домов, рядом с каменными ступенями суворовского времени, ведущими в Таманский лес и к пруду. Там ещё есть несколько таких же — соседи разводят кур, хотя мы почти что в центре. Нас не снесут, или снесут последними, расчищая место для светлого капиталистического будущего, так как неудобное расположение.

...Если поместить трёх одноклассников на шкале успеха, я и Серёжа будем на её концах, а Рома посередине.

Серёжа после 91-го ушёл в коммерцию (бандитизм), рисковал и «поднялся».

Я обнищал, рисковать не пытался и стал «лохом».

Рома продолжил работать врачом (сохранил лицо), но преуспел.

Легко закружилась голова.

Обо мне говорят: «лох», «не от мира сего». Но это не обидно — вспомним хотя бы Гамлета.

Мне сейчас сорок два, между прочим, — как Смоктуновскому, когда тот сыграл у Козинцева. Там сцена про Йорика хороша: смотришь и чувствуешь запах земли, — возможно, потому что снимали не в павильоне. Отчётливо представляю себе землю: миллионы уплотнившихся песчинок...

Между прочим, очень мопассановская мысль. Тот тоже был тю-тю, только сильнее и в другом роде. То есть в честности перед собой дошёл до предела. (Это если усматривать среди причин безумия не чисто медицинские.)

Есть у него зарисовка о Северной Африке: пустыня, на песке лежит помирающая собака, отбившаяся от каравана. Чуть поодаль ждут грифы. Собака не отрывает от них взгляда — даже ухом не ведёт в сторону проходящих людей.

Впрочем, у Мопассана не было детей.

А вот красивый Андреевский храм — здесь мы крестили Женечку. Здесь крестили меня в бессознательном возрасте.

Перекрестился, глядя на колокольню.

Каменистое русло мелкой речки в солнечных лучах.

Какое ещё русло? Не знаю, вдруг, картинка перед глазами.

Если пойду прямо, слишком рано буду на проспекте Маркса. Да, можно пойти и другой дорогой... За дореволюционным особняком с большим балконом сворачиваю влево на ул.Кавалерийскую. Она крутая, извилистая, тротуар иногда переходит в ступеньки. Вроде как в центре, а почти нет людей.

Одноэтажные «Продукты». Беру половину багета, пакетик кетчупа и майонеза. Откусываю уголки, выдавливаю на хлеб. Пока ем, дохожу до дна ул.Кавалерийской — а слева тот самый пруд, к которому я бы попал гораздо быстрее, если бы сразу спускался от нашего дома, а не делал крюк по ул.Дзержинского.

На пруду не людно. Повстречались две студентки — занимаются бегом, — говорят: «Алексей Петрович, здравствуйте».

Поднимаюсь на пирс, расстилаю плащ и ложусь поспать.

* * *

У Серёжи, возле ворот дома, четверо рослых мужиков. Я здороваюсь, представляюсь, стою рядом, руки из карманов вынул. Они вроде дружелюбны. Я на них посматриваю, но прямо не смотрю. Двое, кажется, какие-то знакомые. А может, и нет. У меня есть такое свойство — рассеянность, граничащая с надменностью: не очень всматриваюсь в людей.

После сна на пруду я шёл, размякший от солнца, по хитрым переулкам частного сектора в районе Ташлы, чтобы поспеть на ул.Подгорную — было уже 11:15, — за заборами поднимались густые кроны садовых деревьев, слышались запах еды, радио и разговоры, женский голос из-за забора сказал «поставь помидоры сюда», а вдоль переулков и на пустырях попадались огромные бесполезные деревья — вроде пирамидальных тополей, — и склоны то и дело подпирали обломки старых стен, а ступенями были отполированные ногами камни песчаника, положенные во времена крепости, а у одной нагретой солнцем стены был муравейник, и по ней поднимался фиолетово-белый вьюнок. Я остановился, смотрю и понимаю: скоро меня не будет, а это будет. Стена, вьюнок, муравьи.

Четверо пускают меня во двор. (Это тоже частный сектор, вокруг в основном хибары, но у Серёжи забор двухметровый, а на участке, который уходит вверх по Крепостной горке, есть и два особняка, и гостевой домик, и баня, и садик, и гараж, и беседка с мангалом, и даже убранный в камень родник.)

Серёжа в беседке что-то ест. Подхожу: шашлык.

— Лёха, — он вытирает губы, а потом мы обнимаемся.

— Как ты?

Он обводит руками стол и то, что за его пределами.

— Да, — говорю.

— Ты худой — пипец.

Он закуривает, стряхивает пепел в тарелку с костями.

— Как жена, дети?

— Дочка. Да потихоньку.

Кивает:

— Дочка.

Киваю.

— Мои улетели в Турцию. Отдыхают.

Он налил себе немножко водки.

— Будешь?

— Ой, нет-нет.

— Э-э, так и не пьёшь, — озорно подмигивает, выпивает, а я вспоминаю Серёжу двадцатилетней давности, как он, уже тогда полный, танцевал в четыре утра танго с невидимой партнёршей, — все смеялись. Кажется, был день рождения Леща (Левченко). Не кажется, а точно.

— Ну, рассказывай.

Обстоятельно, насколько могу, излагаю схему, слышанную год назад от предприимчивого знакомого: арендуется грузовик, закупается сливочное масло — у производителя в апанасенковском районе, привозится в город, партиями доставляется в магазины. До времени часть груза хранится на складе хладокомбината. И так по кругу. В случае чего, иногда можно менять ассортимент — под запросы. Воспроизвожу обороты речи знакомого для убедительности.

— Сколько под это надо?

Я озвучил.

— А что, брать будут?

— Будут. Я по объемам прикинул. Обошёл несколько точек — все говорят «вези».

— Говорят.

Сейчас он засмеётся и пошлёт подальше.

— А загружать-разгружать кто будет?

— Я сам.

— Ты? — он выдыхает дым. — Ты треснешь пополам.

— Я жилистый, — говорю и добавляю, — Серёжа. Я, конечно, лох. Может, и не получится. Но тогда я перед тобой отвечаю. Попробовать стоит. Понимаешь, мы уже дошли до ручки. Дочке скоро поступать... У жены серьги в ломбарде... Я долго ни за что не брался — боялся, ну ты меня знаешь... Но — либо так, либо никак.

Это почти правда. Серёжа соглашается:

— Пробовать надо... Априори, де факто! Я вот ювелиркой занялся — тоже новое дело, — разбираюсь... Будешь проходить по Октябрьской — посмотри рекламу. Салон «Элегия».

Я киваю, над неожиданной латынью не смеюсь. Такие реакции уже встречал. Обычно их вызывает впечатление от речи интеллигентов.

Николай Верёвочкин

Герой без звезды

Бодрый реквием по простодушной эпохе

1

В Новостаровку Ленин ехал на грузовой машине марки ЗИЛ.

Голова вождя выпирала в пустоту за пределы заднего борта, висящего на цепях параллельно земной поверхности. Вдохновенно прищурившись, Ленин смотрел бронзовыми лукавыми глазами на скомканную в правой руке бронзовую кепку.

Кепка, надо признать, скульптору не удалась. Она напоминала толстого кролика. На встречном курсе кепка проплывала под ослепительно белыми облаками, и её вид веселил Ленина.

Правильнее было бы транспортировать вождя стоя. Но не по этой дороге. Редкий автобус после дождя доезжал до Кривоносоро, а это как раз на середине пути к Новостаровке, северной Венеции.

Во избежание потёртостей, царапин и сколов Ленин лежал на соломе, а от бортов был обложен соломенными же тюками. Для надёжности его опутали пеньковой верёвкой, местами сильно разлохмаченной.

Выглядел Владимир Ильич Гулливером в стране лилипутов.

— Много чего возил, а Ленина не доводилось, — сказал перед рейсом на станции Сулы водитель Крутев, прозванный в народе за пристрастие к некачественным сортам табака Никотин Никотинычем. — Не гравий с ишимского карьера. Большая ответственность. Вяжи его крепче, ребята.

Не зря озабоченно скрёб пегую щетину Крутев. Чем ближе подъезжали к Новостаровке, тем неровнее становилась дорога. Сушь кончилась сразу за Кривоносоро. Малые лужи сменялись всё более обширными лывами.

ЗИЛ напоминал баркас в штормящем море.

При этом волн не было.

Странное впечатление: волн нет, а баркас качает.

Николай Верёвочкин родился в 1949 году в Северном Казахстане. Окончил Казахский государственный университет. Издал семь книг. Несколько рассказов из первой книги вошли в хрестоматию «Русская словесность» для 5 класса казахстанских школ (2001). Лауреат конкурсов СОРОСа в номинациях: «Современная пьеса» («Ковчег-транзит, или Время строить лодку») и «Современный роман» («Зуб мамонта»). Лауреат «Русской премии» за 2006 год (повесть «Человек без имени»). Печатался в журналах «Дружба народов», «Знамя» и др. Живёт в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 7.

Преодолев четыре лужи, машина застряла в пятой, самой обширной.

Она напоминала макет океана, из которого островами и континентами торчали комья и пласты жирного чернозёма.

— Всего Ленина, трах-тарарах, грязью обляпали. Чем монументы воздвигать, лучше бы дорогу как положено сделали, — выразился Никотиныч, может быть, и справедливо, но крайне неинтеллигентно.

На что сопровождающий груз новостаровский участковый Галушко Фёдор Евлампиевич сурово нахмурился и приструнил вольнодумца:

— Ты мне ещё поговори, поговори, диссидент марьевский. Договоришься.

Галушко имел такой внушительный, такой бочкообразный вид, что, замени старшинские погоны на, допустим, полковничьи, никто бы и не заметил.

— А чего я, трах-тарарах, такого сказал? Ничего я, трах-тарарах, такого не сказал. Вот привезём, мало того, что чумазого, так ещё и побитого, Ленина, кто отвечать будет? Чем тебе хорошие дороги не нравятся? Рассуждаешь как враг народа, трах твою в тарарах!

Не смотри, что шуплый, а нацепи на промазученную фуфайку Никотиныча хотя бы и генеральские погоны, фиг бы кто заметил. Суворов тоже большого пуза не имел. Дело не в пузе, а в характере.

Сердитый Крутев открыл дверцу и, опасаясь не достать дна, осторожно, по-женски, погрузил ногу в шоколадную лужу. Человек он был стреляный во всех отношениях и давно не доверял барометрам, как, впрочем, и всему остальному. Проигнорировав «великую сушь», для поездки в Новостаровку он переобулся в бродни. Окрестности этого села в районе звали Мокрым углом. За грехи ли, за добродетели её жителей, Новостаровка с её Солёным озером притягивала к себе дожди. Об этой особенности знали все грибники области.

Распространяя по лесостепному приволью мрачные трах-тарарахи и клубы ядовитого дыма, Никотиныч обошёл вокруг машины, гоня перед собой мутную волну.

Мимоходом, выдрав клок соломы, обтёр большую голову вождя, проверил надёжность цепей, на которых висел задний борт, и крикнул:

— Эй, корреспондент, скинь-ка тюк!

На одном из тюков в ногах Ленина сидел младший литературный сотрудник районной газеты «Плуг прогресса» Петя Пышкин — человек лет восемнадцати, очень похожий на свою фамилию: пухлый и румяный. Несмотря на молодость, он, как и Никотиныч, не доверял местному климату и надел плащ-палатку.

Шла вторая неделя работы в штате, и это была его первая самостоятельная командировка. Петя Пышкин крайне возбудился ответственным заданием и заранее представлял событие, обдумывал вопросы, которые он задаст его участникам.

Всё могло случиться, любая мелочь могла сорвать репортаж. Мог подвести старенький ФЭД, висевший у него на шее подобием бинокля. Петя мог в суматохе ошибиться с выдержкой и навести не ту резкость. Мало ли из-за какого пустяка можно сорвать задание. Скажем, засохла паста в шариковой ручке — и всё, привет, приехали.

Петя Пышкин был человеком серьёзным и запасливым. В стареньком офицерском планшете, доставшемся от отца, лежал набор шариковых ручек, вечное перо, два блокнота, бутерброд с «колбасыром», завернутый в областную газету «Ишимские зори». В «Плуг прогресса» Петя никогда не заворачивал продукты питания и очень не любил, когда это делали другие. Лежали в этом планшете среди самых необходимых вещей две книги: большая шпаргалка — «Справочник работника печати» и Антуан де Сент-Экзюпери: «Планета людей», «Южный почтовый», «Военный лётчик», «Маленький принц», очерки, репортажи, письма. А также две заветные тетради — его и Вампирыча.

Никотиныч распотрошил тюк и втоптал под задние колёса отказывающуюся тонуть солому.

— Так и тюков не напасёшься, — проворчал он, сполоснув бродни, а, садясь за руль, посмотрел на начищенные до блеска хромовые сапоги Галушко и намекнул с тайным злорадством, — толкнуть бы надо.

Участковый решительно распахнул дверцу кабины. Полюбовался своим зыблущимся отражением в жидком зеркале шоколадной лужи и столь же решительно её захлопнул. Под вызывающий сострадание надрывный скулёж пожилого грузовика засмотрелся на пейзаж по правую сторону дороги.

Любоваться особенно было нечем. Лужа. Опаханный под самые корни берёзовый колок одиноким островком торчал в океане пшеничного поля. Любимый сюжет местного художника Манзи. А у самого горизонта, сливаясь с небом, синеет кусочек Солёного озера, словно бы выщербинка в планете.

Этот пейзаж, как надпись на картине, предварял дорожный указатель со стрелкой: «Коммунизм» — 5 км. Какой-то шалун соскоблил «совхоз», и вышло, что до мечты всего прогрессивного человечества остались какие-то пустышки, рукой подать. Но, пожалуй, по такой дороге до него никогда не доехать. Так подумал Галушко и вздрогнул, когда его мысль, слово в слово, разве что с добавлением очередного трах-тарараха, повторил вслух Никотиныч.

Посмотрел с подозрением Галушко на вольнодумца, читающего чужие мысли, и пробормотал в некотором смущении:

— Поговори мне, поговори...

Но в это время пейзаж ожил. Выкатив из-за колка, нарисовался «Кировец-700».

Галушко стремительно высунулся из кабины и замахал ему форменной фуражкой. Жесты были, с одной стороны, радушно приглашающими, с другой — требовательно повелительными.

— Это вы нарочно нашим чернозёмом Ленину глаза залепили, чтобы наших дорог не видел? — спросил весёлый тракторист Фельд, цепляя трос к своим семиста лошадиным силам.

И участковый Галушко по инерции осадил очередного вольнодумца:

— Ой, ты у меня доштутишься.

— А чего бы нам и не пошутить? — отвечал за тракториста Никотиныч. — Мы, трах-тарарах, родились там, куда других за грехи ссылали. Куда нас, трах-тарарах, высылать? В Москву, что ли?

— Ну, народ! Вот поговори с таким народом, — посочувствовал сам себе Галушко.

И, отвернувшись от бессовестного народа, с мрачной подозрительностью стал изучать родное раздолье.

«Кировец» буксировал ЗИЛ с Лениным без видимых усилий. Как торпедный катер шлюпку.

Петя Пышкин сидел на соломенном тюке в ногах статуи и пытался записать мысль в блокнот. Блокнот и ручка тряслись несинхронно, и мысль записать не удавалось.

Завести такую тетрадь ему посоветовал Федот Фёдорович Вампилов, которого сотрудники районки ласково звали Вампирычем.

Вампирыч был личностью всесторонне развитой, титанической. Не с кем его было сравнить среди ныне живущих. И только Леонардо да Винчи соответствовал широте его натуры. Вампирыч писал фельетоны в стихах. А однажды сочинил фельетон в форме венка сонетов. Фельетоны писались в основном безадресные, но акростихом: начальные буквы строк составляли имя и должность отрицательного героя. Помимо прочего, резцами, сделанными из спиц старого зонтика, он вырезал гравюры по дереву и линолеуму. Из старого велосипеда соорудил первую в райцентре ветроэлектростанцию, от которой работало механическое пугало на его огороде. Придумал авторучку-фонарь, чтобы творить по ночам, не включая света и не тревожа домашних. Был Федот Фёдорович большим авторитетом в рыбной ловле. В частности,

именно он изобрёл, сконструировал и смастерил подводную подзорную трубу с подсветкой. Сунет её в лунку, и уже не сомневается — есть ли рыба, или нет. Местные интеллигенты обзывали его обидным словом «мейерхольд»: на сцене народного театра поставил Вампирыч пьесу собственного сочинения «Первая борозда», в которой сам же и сыграл роль главного героя.

У него была масса других талантов и достоинств.

Но был и один недостаток: он был запивалой. Не путать с запевалой.

Иногда он уходил в рассвет. Так поэтично называл редактор его запои. В таких случаях считалось, что он направлен в командировку в совхоз «Рассвет». Из «командировки» Вампирыч возвращался с безадресным очерком на моральную тему. Как правило, о вреде пьянства. Именно эти очерки склонили Петю Пышкина ступить на стезю газетчика. Вампирыч, познакомившись с юным внештатником, взял над ним шефство.

— Неправильная у тебя фамилия, Петя, — сказал он при первой встрече.

— Отчего же она неправильная? Фамилия как фамилия.

— Ошибочка вышла. Должно быть, в метриках вместо «у» «ы» записали. Я тебя Пушкиным буду звать. Не возражаешь?

Среди сотрудников «Плуга прогресса» существовала легенда. Она сводилась к утверждению: очерки за Вампирыча пишет редакционная бабушка — секретарь-машинистка тётя Соня. И это отчасти было похоже на правду. Как-то заглянул Петя в рукопись Вампирыча — и среди закорючек, петель и палочек не разобрал ни слова.

Впрочем, вскоре выяснилось, что это — скоропись. Окончательно развеял эту легенду Вампирыч, когда приобрёл пишущую машинку «Москва» в личное пользование и отказался от услуг тётки Сони.

При первой же встрече с Вампирычем Петя выразил горячее желание написать очерк о герое Абдикариме Омархайямове.

Вампирыч, пожилой седовласый человек с усами и бородкой клинышком, отдалённо похожий на Пришвина, покашлял в кулак и ответил обидно:

— Очерк написать — это тебе не навоз на первую полосу вывезти. Я вот тоже хочу побить рекорд Юрия Власова. Так и что с того? Хотеть не вредно. Но, знаешь, сколько тонн железа надо перетаскать, чтобы побить рекорд Власова? Вот, смотри.

И с этими словами он достал из нагрудного кармашка ключик, отпер им ящик стола и показал Пете тайну тайн — свою заветную общую тетрадь. Это было что-то вроде склада запчастей для будущих очерков, фельетонов и статей. Отдельно складировались эпитеты, отдельно метафоры, сравнения, неологизмы. Здесь был раздел, озаглавленный «Задумки и сюжеты», разделы «Народная мудрость», «Слухи, домыслы и невероятные факты». Много чего было в этой тетради. Были там и фамилии будущих героев, под каждой из которых, как на полочки, выкладывались факты, детали и подклеивались газетные вырезки.

В тот же день Петя выцыганил у знакомого бухгалтера гроссбух и разбил его на разделы. Этот поступок вызвал у Вампирыча не ревность, а, напротив, отцовскую нежность. У Вампирыча, как и у многих гениев, не было собственных детей, и, казалось бы, навсегда уснувшие отцовские чувства вдруг пробудились и щедро излились на Петю Пышкина.

— Изучай, — протянул он свою тетрадь новобранцу, — да смотри не потеряй. Этой тетради лет двадцать. Изучишь — вернёшь с благодарностью.

У Вампирыча появился новый смысл жизни: воспитать наследника своего таланта. И начались Петины университеты.

— Газетчик, — вещал Вампирыч низким голосом заговорщика, — это чеширский кот. Появился ниоткуда, послушал, ухватил суть и растворился незамеченный. Одна улыбка среди ветвей. Газетчик — это скупой рыцарь, который отовсюду собирает факты по копейке. Вот ты говоришь — очерк об Абдикариме. А я о нём собираю

материалы уже пятнадцать лет. Время от времени пишу о нём заметки и зарисовки. Но очерк должен появиться своевременно — ни часом позже, но и ни часом раньше. Спросишь, что это за час? Отвечу. Жду, когда Герой Советского Союза Абдикарим Омархайямов станет Героем Социалистического Труда. И вот тогда я открою заветную тетрадь и по материалам, которые собирал пятнадцать лет, напишу очерк. За одну ночь. И этот очерк перепечатают все областные, республиканские и союзные газеты. Возможно, и пресса стран народной демократии. Вот что я называю выстрелить вовремя. И последний совет. Не пиши о всем известных героях. Героя нужно открывать самому. Вот с чего тебе вдруг загорелось написать очерк именно об Омархайямове? Его и без тебя со всех сторон описали.

— Он мне жизнь спас.

— И как же он тебе её спас?

— Я тонул, а он меня спас.

Вампирыч сделал губы гузкой, поскрёб затылок и сказал назидательно:

— А вот врать журналисту никак нельзя. Писателю можно и даже должно, а журналисту возбраняется. Омархайямов, конечно, герой, только плавать он не умеет. Топор лучше его плавает.

— В том-то и дело, — отвечал, застыдившись и мысленно ругая себя за болтливость, Петя.

Но поздно было хранить одну из печальных тайн его жизни — неудавшуюся попытку самоубийства, — и Петя в общих чертах передал событие двухлетней давности.

Девочка, имени которой он, естественно, не назвал бы и под пыткой, отвергла его любовь. Дружили-дружили с самого детства, и вдруг — откуда ни возьмись — Вадик из параллельного класса. Муки молодого Вертера Петя описывать не стал. Вампирыч был сорокалетним стариком и всё равно бы не понял его.

В общем, решил Петя Пышкин обставить уход из жизни как несчастный случай. Гулял по понтонному мосту. Перегнулся через верёвочные перила, поскользнулся и, как был в одежде и с рюкзаком за спиной, свалился на самой середине в воду.

Собственно, с этого момента он и начал свой рассказ, опустив всю любовь, суицидальные настроения и некоторые детали.

Например, три булыжника в рюкзаке.

Дело было во второй половине сентября. Вода становилась неприятно тёмной, и по ночам в тихих заводях появлялись тонкие, как оконные стёкла, льдинки.

Бултыхнулся Петя, но, несмотря на довольно тяжёлый рюкзак, сразу ко дну не пошёл, а принялся себе на удивление отчаянно бороться за жизнь. Воздух между одеждой стал на некоторое время спасательным жилетом.

И пока Петя барахтался, на мосту остановился УАЗик, толстый дядька в фетровой шляпе цвета шоколада выскочил из машины и плюхнулся рядом с Петей. И шляпа при этом не слетела.

И стали они барахтаться вдвоём.

— Рюкзак сбрасывай! — приказал дядька в шляпе, и Петя подчинился. Без рюкзака тонуть стало труднее.

Между тем течение потихоньку относило их от моста.

И дядька его спрашивает:

— Ты плавать умеешь?

— Немножко умею, — отвечает Петя.

— А я так и не научился, — говорит толстый дядька, барахтаясь по-собачьи. — Давай спасай.

К счастью, полному человеку не так-то легко утонуть даже при желании.

— Не умеете, зачем прыгать было? — попенял ему Петя.

Ухватил спасателя одной рукой за ворот плаща, а другой стал подгрести к валуну, торчащему из воды. Валун, если бы ни его малые размеры, можно было бы назвать и островом. Но звали его просто Лбом.

Лоб был гладким и скользким.

По мосту с двух берегов к месту происшествия бежали рыбаки, а наперерез утопающим, отвязавшись от камыша, плыл на резиновой лодке старик Петров. Плыв и матерился на весь Ишим, сверкая толстыми линзами очков, потому что плыть на резиновой лодке против течения, подгрести обрезанными вёслами, дело нервное.

Отбуксировал старик Петров Петю и толстого дядьку ото Лба к берегу, а прибежавшим на помощь рыбакам рассказал, как Петя Пышкин спас свалившегося в воду дядьку.

Рыбаки смачно хлопали Петю по мокрой спине, одобряя его действия. Петя пытался возражать, но незнакомый дядька в шляпе, натянутой по самые брови, неожиданно поддержал старика Петрова и подтвердил героический поступок Пети Пышкина.

Старик Петров раздухарился и стал советовать незнакомцу не пренебрегать закуской после выпивки.

Тут незнакомец, ухватившись двумя руками за обвисшие поля, снял шляпу. Один из рыбаков ткнул деда вбок локтем и прогундосил:

— Глаза-то разуй.

Старик Петров разул глаза и без перехода, не меня интонации, продолжил:

— Здравствуй, товарищ Омархайямов. Богатым будешь, не узнал тебя в шляпе с перепугу. Запомни, Петька, своего спасителя. Если бы не товарищ Омархайямов, утянуло бы тебя в бучило к налимам.

Вот так и познакомился Петя Пышкин с одним из самых уважаемых людей в районе.

И никто не узнал о тайном умысле Пети. Кроме Омархайямова, который, конечно же, на спуске к мосту видел, как неуклюже и совсем не случайно перевалил через перила Петя Пышкин. Однако он сказал, стуча зубами от холода:

— Героический парень. С таким только в разведку ходить.

— Надо бы его медалью «За спасение утопающих» поощрить, — предложил старик Петров.

— Не надо, — отвечал Петя, стуча зубами и опуская голову.

— Спасти человека — какая ещё награда нужна? Так, Петька? — поддержал его скромность Омархайямов.

Петя кивнул, не поднимая головы.

Тут подъехал УАЗик, и Петю подбросили к дому.

— Однако как же я заявлюсь на бюро мокрой курицей? — забеспокоился Герой, посмотрев на свои противоударные водонепроницаемые часы. — У тебя, Петька, уютю есть? Спасай.

О беседе, которая состоялась между ним и Омархайямовым, пока бабушка, охая и причитая, сушила уютюгом одежды гостя, Петя не счёл нужным рассказать Вампирычу. Как, впрочем, и никому другому. Они сидели в трусах на кухне, пили чай, и Омархайямов рассуждал о том, что в жизни есть вещи, которые кажутся самыми важными, а пройдёт время, и они становятся пустяками и забываются. А есть такие пустяки, которые со временем вспоминаются как самое важное. Жизнь и состоит из таких пустяков. А прощаясь, шепнул на ухо: «Надоест жить — помоги кому-нибудь. Легче станет».

— Интересный факт, — сказал Вампирыч, раскрывая заветную тетрадь. — Не врешь?

— Продам всех вождей за одну копейку, — поклялся Петя.

И Вампирыч занёс этот случай в досье Омархайямова.

Петя смотрел на слоисто-кучевые облака и представлял, как выглядит его лесостепная родина с высоты околоземной орбиты.

Петя был из числа тех редких людей, которые свою малую жизнь меряют в космических масштабах. Он постоянно чувствовал себя жителем маленькой планеты, затерявшейся в бесконечном пространстве. Другие люди тоже знают об этом, но чувствуют это очень немногие. Только те из них, кто любит Экзюпери.

Лишившись тюка, Петя сидел на бронзовой ноге Ленина, смотрел в ослепительное небо родного захолустья, слушал плеск великой лужи под колёсами, и на душе его было так беспричинно хорошо, что он запел: «Облака, белогривые лошадки...» — а потом достал из планшета бутерброд с «колбасыром» и медленно съел. Аж слёзы на глазах от наслаждения выступили.

2

В Новостаровке Ленина ждали с утра.

У пустого постамента с торчащими штырями, на которые нужно было насадить основание памятника, стоял кран. В его кабине, облокотившись о руль, скучала монументально неподвижная крановщица Фрося.

Экономно моргая — с интервалом в минуту, — она наблюдала семейство уток, степенно плавающих в залитом дождями кювете.

Время от времени утки опускали головы, исследуя глубины лужи и демонстрируя хвостики. Вода в придорожном кювете была мутной, глинистой, а утки — снежно-белыми, как одежды святых, к которым не пристаёт житейская грязь.

По другую сторону постамента стоял УАЗик. Все четыре дверцы были распахнуты и напоминали хитиновые крылышки майского жука.

Во внедорожнике, помимо водителя Кнюкшты, сидели, ожидая приезда Ленина, парторг, профорг, председатель Новостаровского сельсовета и заведующий клубом.

В нервном нетерпении автор скульптуры, Атымтал Ибраев — выходец из здешних мест — искусственным спутником кружил вокруг постамента, насвистывая упругий, но несколько однообразный мотив «Болеро» Равеля. Седые волосы напоминали парик. Одет он был исключительно в коричневый вельвет. Кепка, костюм, туфли и даже галстук-бабочка — всё из вельвета. И только платок торчал из нагрудного кармашка ослепительно белой салфеткой. Столичный житель, он кое-что знал и приехал в родные места не только на открытие памятника. Главной его целью было ваение бюста легендарного Абдикарима Омархайямова. Атымтал не был ни пророком, ни ясновидцем, но у него работал в наградном отделе ЦК хороший знакомый. От него он и узнал, что Абдикарим с большой долей вероятности скоро станет дважды Героем, а значит, на родине его должен быть установлен бюст.

Самым представительным из встречающих выглядел водитель Кнюкшта, отдалённо похожий невозмутимостью и сдержанностью на министра иностранных дел Громыко. Облокотившись на руль, он изучал крановщицу Фросю, наблюдавшую уток в кювете. Парторг с завклубом горячо обсуждали международное положение. И в частности Карибский кризис. Председатель поселкового совета с унылым выражением лица внимательно читал областную газету. А профорг, уронив голову на грудь, безыдейно спал и видел во сне передовую доярку Нюру в легкомысленном виде. Немного поодаль, на скамейке, для надёжности сваренной из арматурных прутьев, сидели прикреплённые к крановщице рабочие: Серёга Мурзасов — Метр с Кепкой и Лёха Абрамов — альбинос, прозванный за снежно-розовый оттенок кожи Мавром. Они курили кубинские сигареты «Партогас», от которых прочищались мозги и наворачивались слёзы на глазах, и с трудом вспоминали вчерашний вечер.

Утки взволнованно закрывали, голуби слетели с проводов, встречающие, кроме Кнюкшты и Фроси, встрепенулись. Вывернул из переулка и покатил по главной улице

Новостаровки заляпанный грязью «Кировец», буксирующий ЗИЛ, в кузове которого на ноге Ленина сидел инкогнито младший литературный сотрудник районной газеты.

Участковый Галушко доложил о прибытии, пожаловавшись при этом на плохое состояние дороги.

— Ну, вы его и измызгали. Волоком, что ли, волокли? — с осуждением покачал головой полусонный профорг и, зачерпнув ведром воду из лужи, окатил бронзовую голову.

— С гуся вода, с Ильича сухота, — продемонстрировал дородной крановщице чувство юмора Никотиныч.

Но Фрося пропустила шутку мимо ушей, даже глазом лишний раз не моргнула.

Таких Никотинычей в её синий комбинезон уместилось бы трое. Ещё бы и место осталось для маленькой собачки. Плюгавый мужик пошёл. А туда же — заигрывает.

Обременённые властью новостаровцы принялись горячо обсуждать, как половчее установить монумент на пьедестал и при этом не повредить произведение искусства, не оборвать провода и никого не покалечить.

Петя Пышкин, следуя завету мудрого Вампирыча, спрыгнул с кузова и растворился среди народа, чтобы, не привлекая внимания, наблюдать за событием со стороны. Однако оставаться незаметным в его фронтовом наряде было крайне затруднительно. Он подсел на скамейку к рабочим, которые в чрезвычайно вальяжных позах закурили по новой сигарете и с несколько ироничными выражениями лиц наблюдали за стихийной планёркой.

— Кина не надо, — прокомментировал Серёга.

— Комеда, — согласился Лёха.

Село выглядело богато и чисто. Главная улица заасфальтирована и обрамлена сосенками вперемежку с берёзками. В каждом палисаднике — ёлочки, рябинки, дикие яблони. Дома побелены, ограды покрашены. И ни одной коровьей лепёшки.

— Дорогу давно заасфальтировали? — спросил Петя.

Парни сурово посмотрели на него, и один переспросил:

— Чего? Ты кто такой?

Петя представился и пожал руки новым знакомым.

— А как Абдикарим директором стал, так и заасфальтировали, — сказал Лёха.

А Серёга добавил:

— Попробуй не заасфальтируй.

— И деревьев много насадили, — заметил Петя.

— На одну душу населения на одно дерево больше, чем в Алма-Ате, — похвастался Лёха.

А Серёга добавил:

— Попробуй не насади.

— А то что?

Парни посмотрели на Петю, как на малое дитя, не разумеющее простых вещей, разом хмыкнули, и Лёха разъяснил:

— Взять, к примеру, ты — хозяин. Вот тебе саженцы даром привезли — ухаживай. Деревце не примется — с тебя штраф. Сколько деревьев не примется, настолько и умножай. Усёк?

— А если примутся?

— А если примутся все, — премия.

— И большая премия?

— А сколько штрафов наберут, — такая и премия.

— Справедливо, — одобрил местные нравы Петя.

— Справедливо, — согласился Лёха и добавил, — если все деревья примутся.

Между тем спор не утихал. У каждого спорщика было своё мнение по поводу того, как цеплять, за что цеплять и надо ли вызывать электрика, чтобы на всякий случай

снял провода с ближайшего столба. Особенно горячился завклубом и по совместительству режиссёр театра теней Акоп Тополян, то и дело в отчаянии восклицавший: «Ну как вы не понимаете! Это же элементарно!» И, вытянув руку, которая должна была изображать стрелу крана, он наглядно показывал, как надо действовать правильно. Чем дольше длился спор, тем сильнее опасался за судьбу скульптуры её автор. Его вращения вокруг пустого пьедестала становились всё быстрее. Порой он резко останавливался, поправлял галстук-бабочку и пытался высказать своё мнение, но из-за крайней интеллигентности и тихого голоса сделать ему это не удалось ни разу.

Жирные, благодаря близкому соседству с элеватором, голуби, потревоженные приездом Ленина, покружившись над селом, снова расселись на провода и хором заворковали. Свободные от работы жители села — любопытствующие граждане преклонного возраста и несовершеннолетняя мелюзга — плотным кольцом окружили место события.

Крановщица Фрося, окаменев в монументальном спокойствии, всё так же наблюдала за утками. Даже моргать перестала. Как из гипса женщину вылепили — хоть саму на пьедестал устанавливай.

В долгом споре истины не родилось.

— Надо Абдикарима звать. Пусть сам Абдикарим решает. А то уроним Ленина, кто отвечать будет? — густым басом подвёл итог дискуссии участковый.

Парторг хотя и поморщился, но стерпел явное покушение на руководящую и направляющую роль партии и собственный авторитет.

— Паша, — обратился он к водителю, — слетай в контору, пусть вызовут по рации Абдикарима.

Хлопнув четырьмя дверцами, Кнюкшта полетел.

И когда он улетел, заведующий клубом сказал с сомнением:

— Только до памятника ли сейчас Абдикариму? У него своя беда.

— Что за беда? — спросил Галушко.

— Пока ты отсутствовал, соседская корова китель его сжевала.

— Сжевала — новый купит, — легкомысленно заметил Галушко, — беда не большая.

— Китель бы ладно. Только вместе с кителем она и звезду сжевала.

— Шутишь? Пошуту у меня! — вскричал Галушко.

— Какие шутки? Дело серьёзное. Можно сказать, политическое.

— Ну, ни на минуту нельзя отлучиться, — расстроился участковый.

— Интересно, при утере звезда восстанавливается? — спросил профорг.

Но вопрос его повис в мрачной тишине. И только заведующий клубом пробормотал с большим сомнением:

— Это тебе не значок ГТО. Это похлеще, чем партбилет потерять.

— Может, всё и обойдётся, — предположил профорг.

Все посмотрели на него сурово, и профорг, смутившись, вернулся к предмету спора:

— Вот я думаю, как Ленина поставить — лицом к конторе или к школе?

Не утерпел Никотиныч, язва, и поделился своим мнением:

— Конечно, к конторе. За школьниками мамки с папками наблюдают.

А за конторскими глаз да глаз нужен.

Фрося шутку оценила и повела бровью.

Будь её воля, поставила бы она Ильича лицом к просвету между школой и комбинатом бытового обслуживания. Именно в этот просвет над бирюзовыми водами озера Солёное под звуки двух гимнов каждое утро встаёт солнце. Пусть стоит Ильич и любитесь местным пейзажем.

Максим Глазун



Сотрудничество времени

* * *

я чудное мгновенье позабыл
бесчувственное небо позабавил
нечуждые мне видятся гробы
слова убитые на поле брани

гармонии обманчива змея
изменчива история кривая
а больше ничего не помню я
помимо наковален и кавая

рояли приземляются с небес
и нарушают прежнее теченье
бананка ну куда наперевес
не уцелеешь в будущем пещерном

чего-то да лишишься в глубине
не опознаешь вышедших на сушу
слова твои не разберут оне
но плоть твою возлюбят и засушат

* * *

слова находятся
камни в речке
переливаются
на свету событий
оборачиваются
устойчивыми сочетаниями
прикидываются возможными
покрываются словарём
не дают оторваться
камни в почках
слова откладываются

Глазун Максим Алексеевич — родился в 1996 году в городе Ступино Московской области. Студент Литинститута им. А.М.Горького. Публикации в журналах «Новый мир», «Пироскаф», на интернет-порталах «Формаслов», «Кварта» и др. Участник Итоговой Мастерской АСПИР (Москва, 2022). Лауреат премии им. Р.Рождественского (2018) и других. Живёт в Ступино.

* * *

лишний повод убедиться
в слепоте любви
пишут по воде традицию
чтут прошедший вид
запечатывают облако
в форме языка
придают подобье облика
жидким облакам
как сердечны как сосудисты
клейма имена
прошлое сплошные судороги
издали стена
монолитная конструкция
что обречена

наступление

вначале были
песни и верлибры
магическая
джин-тоника
музыка оторванная
от смысла
столько веков сшивали
и вот опять
в начало наступаем
возвращаемся в море
где всё равно
дельфинские игры

* * *

не бойся потерять внимания
и я и ты местоимения
дыра вселенная карманная
давно открытая америка

кто зашивается до кокона
ползущей вылезет имагою
не бойся в космосе без компаса
без прошлого в крови и мраморе

насилье трения и тления
рассеивается подумаешь
нашло на игоря затмение
заверился свеликодушничал

прими сотрудничество времени
и мы и вы равно заложники
самонеудовлетворение
в идею общества заложено

и я и мы луна ущербная
сразиться зеркалам сравниться нам
они и вы как ощущения
даны не бойся оппозиции

цивилизация не кончила
ведётся разговор про вечности
черешневого дыма ключьями
на волю рвутся человечики

не видно на полях сожжения
заслуг ненастоящих мальчиков
рыдают ставшие джужеппами
пути заманчивы обманчивые

театра действия стремительны
шарманку крутит мясорубку
не бойся с нами быть не вытерпеть
мы группа риска рока группа

шумит взрывается бессмысленно
не оставляет места чистого
ремиссия ещё не миссия
почти почившее
почти почившее

* * *

разлетаются листья салюта
под бассбустедом кости хрустят
человек не родит абсолюта
субъективное ноет дитя

всё тебе не хватает чего-то
мировая больная душа
светлый рыцарь собой очарован
со звездой говорит слепшар

огневая нечистая сила
поднимает банальный вопрос
но на всё отвечает спасибо
человек что в провинции рос

обещайте империю детям
повелите любить и страдать
не в моменте живём а в ответе
верь дедам верь дедам верь дедам

Владимир Медведев

Невероятные события в селе Берёзовка

Повесть

Кой бес вомчал, тот и вымчал.
(Пословица)

Утром Матвей выполз на крыльцо, увидел, что по двору по-хозяйски разгуливает чудовищный чёрный хряк, не удивился и констатировал:

— О, глядь, свинья.

Хряк, услышав его замечание, остановился и спросил густым баритоном, каким вещают высокопоставленные руководители:

— Дрыхнешь, дармоед?! А завтрак кто подаст? Жрать охота.

«Во жизнь пошла, — подумал Матвей. — Свиньи базарят и права качают. Скоро начнут жизни учить по ящику...»

После вчерашнего он был в подвешенном состоянии, а потому не нашёл ничего необычного в том, что кабан говорит по-человечески. Голос звучал предельно материально, если можно так выразиться, да и тон был повелительным, как у начальника. Такой не подделаешь. Матвей стал по привычке оправдываться:

— Так я сам ещё не жравши...

Хряк отмазку не принял, попёр буром:

— А это никого не колышет, пожрал ты или нет. Неси, что есть, — он гневно копнул землю ногой, а щетина на шее и плечах встала дыбом.

Матвей попытался сообразить, способны ли свиньи подниматься по ступенькам. Наверное, нет. Ножки короткие и брюхо чуть не по земле волочится. Да и крыльцо высокое. Осознав, что он в безопасности, Матвей опомнился. Что за дела?! Какая-то хрюшка на него шары катит!

— Ты кто такой, чтоб указывать?! — крикнул он.

— Сейчас узнаешь, — рявкнул кабан и понёсся к Матвею.

Медведев Владимир Николаевич — прозаик, журналист, редактор. Родился в Забайкалье, много лет прожил в Таджикистане. Автор романа «Захлок» и книги рассказов «Охота с кукуем». Лауреат литературной премии «Студенческий Букер» (2017), финалист литературных премий «Русский Букер» (2017), «Ясная Поляна» (2017), «НОС» (2017) — за роман «Захлок». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 7.

Он был похож на боевую машину, бронированную пуленепробиваемой щетиной и управляемую искусственным интеллектом. Казалось, слышно, как внутри у хряка рокочет двигатель и скрежещет стальными шестернями и коленчатыми валами силовая передача. Tактический робот сально-мясной породы. От такого не убежишь. И в доме не спрячешься: дверь высадит — не заметит.

— Постой! — завопил Матвей. — Сейчас вынесу. Подожди.

Он бросился в дом. У него, конечно, не имелось ни крошки, чтобы ублажить кабана на скорую руку, зато на кухне стояла большая молочная фляга с брагой, которую он подумывал сегодня-завтра перегнать, а в подполе осталось немало картошки. Матвей выволок флягу во двор, сбежал в пристройку за корытом и набуровил в него чуть ли не половину сорокалитровой посуды. Хряк понюхал брагу и недовольно спросил:

— Это что за хрень?

— Экологически чистый продукт, — залебезил Матвей. — Пока жратва готовится... Для аппетита...

Кабан понюхал брагу, на его физиономии отразилось отвращение. Да, да, именно отразилось и именно на физиономии. Свиньи — немногие, если не единственные, кроме человека, существа, способные выражать чувства мимикой. Как бы нехотя, кабан приблизил рыло к корыту, медленно опустил пятак в пойло. Матвей вздохнул с облегчением. Он уже начал опасаться, что не угодил грозному гостю. Хряк хрюкнул, сделал несколько глотков, как бы пробуя брагу на вкус, и принялся жадно хлебать, сохраняя на морде брезгливое выражение.

— На свиноферме, небось, не часто подносят? — посочувствовал Матвей.

Кабан оторвался от пойла:

— Ты за кого меня принимаешь?

— Ну, как это... — Матвей замаялся, опасаясь обидеть незваного гостя. — В соответствии с природой.

— Думаешь, кабан с тобой говорит?

— А кто же?..

— Я! — гордо произнёс кабан. — Великий демон Магардон.

— Ты бес что ли? — удивился Матвей. Он был уверен, что беседует с кабаном.

— Демон!

— А-а-а-а, ну тогда понятно.

На самом деле, Матвей запутался окончательно. Прежде он был уверен, что беседует с говорящим хряком, который каким-то образом пролез в начальство. Или же какой-то руководитель принял облик хряка. Зачем? Бог его знает. Порой начальники чудят так, что простой человек только диву даётся. Однако кабан именуется себя великим демоном, то есть по-простому бесом, и это похоже на правду. Бесу, наверное, проще, чем начальнику, обернуться свиньёй, хотя не факт. Пока Матвей уминал в голове эти соображения, сквозь похмельный туман пробилась ещё одна мыслишка: а что если говорит не сам кабан, а кто-то обитающий у него в нутре? Начальник в свинью ни за что не полезет. Побрезгует. Одно дело прикинуться чёрным беркширцем, а совсем другое — залезть тому в кишки. Следовательно, это взаправду бес. Чтобы окончательно убедиться, Матвей спросил:

— А почему в свинье сидишь?

Кабан, или Магардон — пока было не уразуметь, — вновь грозно ошетинился:

— Хватит философствовать! Иди на кухню.

Матвей поплёлся в дом, слазил за картошкой в подпол, поставил на газ большую кастрюлю и стал ждать, когда сварится брашно. Выходить к Магардону не хотелось. Тем более что со двора доносились непонятные громкие звуки...

Когда картошка сварилась, Матвей вывалил её в таз, растолок, дал немного остыть и потащил во двор. А выйдя на крыльцо, остолбенел. Взгляду его открылось

невероятное зрелище. Кабан, нарушая законы гравитации и принципы равновесия, стоял посреди двора на задних ногах и, уставив рыло в небеса, горланил песню на неизвестном гортанном языке. Матвей чуть с крыльца не свалился. Ну-у-у, это перебор! Бес в кабана — ещё туда-сюда. Чего только на свете не бывает. Но чтобы свинья на задних ногах ходила, такого быть не может. Это против всех основ природы. Хотя не исключено, что там, наверху, опять приняли новые законы мироздания.

Относительно беса у Матвея уже не имелось сомнений. Если выражаться красиво, он был эмпириком, то есть полагался исключительно на собственный опыт. В чудеса и всякую чертовщину, а также в леших, русалок и домовых он не верил. Но против действительности не попрёшь. Если в объективной реальности голос, вещающий из кабаньего нутра, объявляет себя бесом, что это доказывает? Только одно — бесы реально существуют! А веришь ты в них или не веришь, значения не имеет. Тебя не спрашивают...

Но и на этой мысли Матвей, в силу шаткости его убеждений, не остановился. Имелась ещё одна вероятность — его обманывают органы чувств. Иными словами, у него самого в голове что-то свихнулось, и он видит то, чего нет. Хотя вчера не так уж много принял, чтоб мерещились бесы. А главное, никому и никогда по пьяни не чудились бесы или кабаны. Одни только черти... Как это объяснить? И в этот момент Матвея осенило: да это ж просто сон! У-у-у-ф, аж от души отлегло. Даже любопытно стало, что ещё приснится.

А ему снилось, что соседка справа, Зоя Марковна, глядящая на кабана через разделяющий дворы невысокий забор, говорит ему с упрёком:

— Ты зачем животное дурному учишь? Сам живёшь свинья свиньёй, так и его за собой тянешь.

Всегда перед всеми виноватый и привыкший к укорам, Матвей бормочет:

— Так это бес...

— Дожил! — всплёскивает руками соседка. — Беса ублажаешь!

— Да я...

Но Зоя Марковна, не слушая, уходит к себе, а Матвей ставит таз с картошкой перед кабаном, который не обращает на угощение никакого внимания.

— Жрать-то будешь? — спрашивает Матвей.

Кабан косит на него глаза.

— Сам жри это дерьмо.

На этом Матвей проснулся или, лучше сказать, очнулся. В сновидениях и наваждениях мешанку не называют дерьмом. Так грубо выражается только реальность... Значит, это не сон! Откуда же взялся бес с пышным именем? Чего только странного в жизни не встретишь — ни один враль такого не наворотит...

Кабан вновь затянул свою песню. Матвей вздохнул, присел на крыльце — ждать, пока пьяный бес нагуляется. Тот гулял долго, но, наконец, позволил отвести себя в пустой хлев, где при покойных родителях Матвея, как в Ноевом ковчеге, содержалась всякая тварь — и коровка, и козочка, и свинка, — каждая в своей загородке, да ещё куры в дальнем углу. Теперь-то загородок не осталось, Матвей стопил их однажды, когда дров не хватило, — в хлеву было просторно, ложись где хочешь. Кабан повалился в серёдке. Матвей тихонько вышел, опять расположился на крыльце и задумался.

Долго думать не довелось. Проходивший мимо по улице ветхий дед Велехов остановился, опёрся о столб штакетного забора и осведомился:

— Славно погуляли? На другом конце села было слышно.

«Хрыч любопытный, — подумал Матвей. — Прискакал разнохивать».

Дед был в Берёзовке основным, помимо ящика, средством массовой информации. В другие времена его почитали бы как Бояна, в наши дни злые языки прозвали сплетником. Матвей, не вникая и не питая почтения к старости, звал просто хрычом. Однако заочно.

— Событьльник твой где? — продолжал дед.

— Дрыхнет в хлеву.

— А ты, я гляжу, с ним, с Макаром, подружился.

Матвей удивился, что старик знает и переименовал имя беса, осерчал и ответил непочтительно:

— Тебе бы, дед, такого дружка. Хочешь, подарю?

Старик перекрестился.

— Упаси Бог! Нет уж, оставь себе, раз сам польстился.

— Слышь, дед, — взъярился Матвей, — напраслину не возводи. На что это я польстился?!

Вспылить-то он вспылит, зная, что дед по ветхости своей в рыло не заедет, однако понимал: запальчивость надо поубавить, иначе не узнаешь, откуда взялся кабан. Мудрый старик не обиделся, а словно прочёл его мысли.

— Как это откуда? Сам же его и привёл. Сначала человека ни за что, ни про что оскорбил, а потом дармовщиной соблазнил.

— Врёшь! Не было такого.

— Очень даже было, — возразил дед. — Трюхал ты вчера по улице, глаза заливши, неведомо куда и зачем, а шёл перед тобой колченогий Казлаускас. Ты его настиг, а обойти не можешь. Улица широкая, но ты только по прямой двигаться был способен. Вот и кричишь: «В сторону отвали, хромой чёрт! Людям прохода не даёшь! Сидел бы дома», — и такое прибавил, что повторять не буду. Казлаускас обиделся, однако ответил: «Рад бы дома сидеть, да дело есть, покупателя ищу. Вот хоть бы тебя, коли ты первый подвернулся...» — «А что продаёшь?» — «Кабанчика», — «Э, нет, — ты говоришь, — на кабанчика у меня денег нет. Вот ежели бы кролика». — «А денег не надо, — Казлаускас говорит, — отработаем». — «Что делать-то надо?» — «Потом разберёмся». Так и сяк, короче, обольстил он тебя. Повёл к себе. Ты, увидевши кабанчика, возликовал: «Вот это покупка! Давай прямо здесь его забьём, а я тебе за труды пару кило мяса оставлю». — «Э-э-э, нет, — говорит Казлаускас, — ты купил, твоя и забота. А доставить, так и быть, помогу...» Погнались вы с ним кабанчика, а навстречу Мишка Дьяков. Увидел тебя с приобретением и остолбенел: «Ты что?! Повёлся?»

Дед замолк, потому что Матвей аж затрясся от возмущения:

— Выходит, знал Мишка, паскуда, что в кабане бес сидит?!

— Эва! В деревне все знают.

— Не все! Я-то не в курсах.

— А ты вообще различаешь, что вокруг происходит? Живёшь как в бутылке.

— Почему же Мишка, мать его, не разъяснил?!

— Пытался, — сказал дед. — Да ты не слушал. В драку полез. Решил, должно быть, что он из корысти твою покупку хаёт. Мишка, мол, при деньгах, и хочет твою покупку перекупить. Он плюнул и ушёл.

— А Козёл знал?

— Как же не знать? Оттого и всучил тебе кабанчика задарма.

Матвей мысленно пообещал себе поквитаться с ушлым Козлом и спросил:

— Ну ладно, я с пьяных глаз залетел. Но Козёл-то как попался? Его кто подловил?

— Никто. Случайно вышло, — объяснил старик. — География подвела. Он ведь рядом с церковью, сам знаешь, живёт. А на неделе отцу Василию привезли из Сосновки одержимую старуху. Отец Василий, как обычно, отчитал, приказал «изыди», бесы из старухи и вылетели. Куда им деваться? Пометались туда-сюда... А у Казлаускаса в хозяйстве хряк, бесы, недолго думая, в него заселились.

— Почему в хряка? — удивился Матвей.

— Так уж у них, бесов, водится, — ответил дед. — Читал, небось...

— Дед, ты их видел? Какие они? — спросил Матвей.

— Обыкновенные. Бесы как бесы.

- Как на картинках?
- На картинках — это образы, а в жизни они другие.
- С крыльями? С козлиными мордами? С рогами? Когти есть?
- Ты хоть слушаешь меня? — рассердился дед. — Говорю тебе: другие...

Матвей судил по голосу и представлял беса в человеческом облике. Невозможно вообразить, чтобы безобразная рогатая тварь с перепончатыми крыльями разговаривала бы столь зычно и сановито. По его представлениям, Магардон одет в дорогой серый костюм с бордовым галстуком, как и подобает большим чиновникам, каких показывают по ящику. Дед не внёс изменений в этот образ. К тому же в дедовом рассказе имелось противоречие, которое Матвей вначале не мог для себя изъяснить, а теперь понял, что именно его смущало.

- Дед, почему ты говоришь «бесы», когда бес один?
- Кто ж их считал...
- А если много, где прочие?

Старик замешкался с ответом и даже вроде смешался: как же, числится всезнающим, а простая задачка ставит в тупик. Однако выкрутился:

- Это у тебя надо спросить. Ты у нас главный по бесам.

Перевёл стрелки на собеседника, пусть тот отбрыкивается. А Матвею что? С него насмешки как с гуся вода. Опять с вопросом полез:

- Кабан-то сильно сопротивлялся? Чувствовал, поди, что кто-то в него лезет.
- Ему хоть бы хны, — сказал дед. — В него кто хошь вселяйся, он даже не хрюкнет.

- Дальше-то что было?
- Ничего не было. Ты кабанчика приобрёл...
- А старуха? — спросил Матвей, заморожённый рассказом. — Как в ней бес завёлся?

— Бог, выходит, попустил. А фактически разное рассказывают. Впрочем, точно никому не известно...

— Зато я знаю, — грозно сказал Матвей. — Знаю, кто виноват и что делать. Сперва Козлу морду начищу, а потом приведу за шкурку, пусть забирает своего беса.

— Опоздал, — сообщил дед. — Казлаускас с самого ранья вещички собрал, запер дом, забрался в свою «Ниву» и был таков. Даже с соседями не попрощался. Да он ни с кем и не дружил.

- Где ж его искать?
- Где всех — в Москве. Где ж ещё? А то, глядишь, в независимую Литву подался, подальше от греха.

Матвей сплюнул в бессильном негодовании:

- Вот сволочь!
- Ты, главное, Бориса Николаевича не обижай, — посоветовал дед. — Он-то ни в чём не виноват.

- А это кто? — знакомых с таким именем у Матвея не было.
- Хряк, — пояснил дед и ушёл.

И впрямь чёрного кабана, учитывая его возраст, жизненный опыт и солидную комплекцию, как-то неловко было звать Борькой, уместнее — полным именем и отчеством, скажем, Борисом Николаевичем. А почему Николаевичем? Просто потому, что Казлаускаса, бывшего его владельца, звали Миколасом. К тому же, имелось у кабана некоторое сходство с Борисом Ельциным. Как и покойный президент, хряк держался с большим достоинством. Правда, отношение к алкоголю у них не совпадало. Забегая вперёд, следует сказать, что у Бориса Николаевича — кабана, а не президента — была странная манера приступать к браге. Всякий раз он дёргался и словно бы принуждал себя пить. Не сразу Матвей догадался, что это не бес, а хряк ненавидит

пойло, которое Магардон вливает в него силком. Впрочем, мы не знаем, кто заставлял пить его тёзку. Или что заставляло...

Матвея-то ничто не принуждало, кроме желания немного освежиться и встряхнуть мозги, чтобы обдумать, как разобраться с бесом. Он зачерпнул из фляги кружку-другую и приободрился. О чём тут думать?! Зарезать кабана и вся недолга. Мясо продать — бабок получится куча. А бес пусть ищет себе жилище где угодно. Надо лишь подождать до завтра. Серьёзные дела вершат на трезвую голову. Он принял ещё пару кружек, а там и ночь наступила.

Наутро вчерашние события вспоминались Матвею смутно. Было или не было? Он вышел во двор. Никакого хряка там, разумеется, не наблюдалось. В ясном свете утреннего солнца окружающее выглядело непререкаемо реальным, обычным, не допускающим никаких глупостей вроде пьяного беса. А жаль. Огорчительно, ясен пень, не отсутствие Магардона. Кому он нужен! А вот кабанчик, тот бы очень пригодился. Денег-то — ни копейки. И всё же Матвей решил на всякий случай заглянуть в хлев, прекрасно сознавая, что никого там нет. Странная всё-таки штука человеческая натура.

Вошёл и... Опа-на! Как током шибануло. Развалясь на грязном полу, дрых чёрный кабан. Матвей затряс головой, пытаясь вытряхнуть нелепое видение, и не сразу осознал, что кто-то кличет его по имени.

— Матюха, ты где?

Он выглянул наружу и увидел на крыльце Вована.

— Ты чего там забыл? — спросил приятель. — Гляжу, дверь в доме открыта, тебя нет...

— Иди сюда, — позвал Матвей.

— В хлев, что ли, жить переехал?

Шутник, блин!

— Иди, покажу чего.

Расчёт был прост. Вован у Матвея в авторитете. Давным-давно он уехал из Берёзовки, жил в Саратове, тёмные дела крутил, а потом что-то случилось: то ли он кого-то наколод, то ли его наколоди, едва унёс ноги, спасибо, жив остался и головы не лишился, прятался какое-то время в Районе, а потом зарылся там, где надёжнее: в родном селе. Если кто-то в жизни что-то понимает, то это Вован. Пусть он и разберётся, есть ли бес или только грезится с бодуна. Если хлев пуст, Вован спросит: «Ну и чего хотел показать?»; а если удивится: «Где спёр?» — значит, кабан не видение, а материальное животное. И тогда придётся дополнительно выяснять, есть ли в нём бес. Хотя и без того ясно, что есть...

Вован спустился с крыльца и неторопливо двинулся на зов, трезвый до неприличия. Даже издали видно, что черепушка у него не забита захрясшим цементом, и руки не дрожат, и сердце не колотится, и сушняка во всём организме нет... А ведь другом считается.

Вован вошёл в хлев, поморгал, чтобы глаза после яркого света привыкли к полутьме.

— Видишь? — спросил Матвей, не дождавшись вопроса и не зная точно, какой ответ хочет получить.

Вован ответил вопросом на вопрос:

— А ты сам видишь?

— Вижу.

— Так с какой целью допытываешься?

Матвей был вынужден спросить в лоб:

— А что видишь?

Анатолий Арефьев

Не теряется человек

Памяти В.П.Крапивина

Друг мой штопанный-перештопанный
за четыре десятка лет,
Митька, помнишь, как под флагштоками
мы встречали с тобой рассвет?
Улыбались ему и верили,
всем сомнениям вопреки,
в то, что там, за песчаным берегом,
есть другие материки.
Острова, города и улицы,
неизведанные пока,
где огромный утёс сутулится,
присоседившись к облакам.
Где все ночи пропахли августом,
раскрасневшимся от огня.
Где для нас становилась парусом
белоснежная простыня.

Так и жили. Но всё кончается.
Только смерти, поверь мне, нет.
Знаешь, Митька, пока качается
над зелёной волной рассвет,
пока ветер гудит неистово,
пробирается по траве,
пока кто-нибудь ждёт на пристани —
не теряется человек...

Арефьев Анатолий Евгеньевич — родился в 2002 году в г. Назарово (Красноярский край). Студент Сибирского федерального университета. Специалист Лаборатории археологии Енисейской Сибири ГИ СФУ. Участник программы «Литературное творчество. Поэзия» в ОЦ «Сириус» (г. Сочи). Печатался в журналах «День и ночь», «Родник» и др. Живёт в г. Красноярске. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

Правый берег, для кого берёт
ты свой рынок, скрюченный и тесный,
изучивший вдоль и поперёк
всех собак и голубей окрестных.
Всё открыто. Каждый на виду.
Беляши шкварчат. Шипят пластинки.
Выставлены здесь в одном ряду
скумбрия и лыжные ботинки,
зеркала имперского овал,
«курт-точк-ка х-хор-рош-шая, отцова».
Здесь букинистический развал
щерится обложками Донцовой.
Бронзовый Ильич среди гнилья.
Вот зонты, вот корм для канареек.
Бабка, продающая трельяж
(неизвестно кто из них старше),
сплёвывает семечки в кулёк.
Воробьи срываются на клёкот.
Правый берег, как же ты далёк.
Это ли прекрасное далёко?

* * *

Николай Николаевич, что же вы тут разлеглись?
Расшиперили бивни свои — ни пройти ни проехать.
Посмотрите, ползёт от болота туманная слизь.
И мне кажется, скоро нам будет уже не до смеха.

Скоро к нам, Николай Николаевич, снова придут холода.
И шерстистое сердце моё оттого и болит,
что на юг не успеют мигрировать наши стада.
Вот тогда-то для нас и закончится палеолит.

Очевидно, из бивней двуногие выстроят дом
(через тысячи лет где-то здесь раскопают Буреть).
Николай Николаевич, всё это будет потом.
Нам для этого нужно в назначенный час умереть.

Вот такие дела... Нынче маки, представьте, горьки,
и осока остра, а тимьян фиолетовый — едок.
Николай Николаевич, я отыскал васильки.
Не хотите ли вы пожевать васильков напоследок?

* * *

Здесь земля оттаявшая скулит.
Здесь турник — чистилище для паласов.
Здесь стоят разбитые «жигули»
со времён Пангеи и Панталассы.
Здесь на лавке пьяный храпит Колумб,
и бесхвостая кошка идёт по крыше.
Посреди травую заросших клумб
здесь гнездятся лебеди из покрышек.
Здесь давно смешались добро и зло.
На заборах сушатся покрывала.
И тебе, наверное, повезло:
ты ни разу в жизни здесь не бывала.
Здесь отключены то вода, то свет
у владельцев замков пятиэтажных.
И тепла здесь нет, и тебя здесь нет,
и меня... Но это уже не важно.

* * *

Выпивали. Взгляд туманился. Зима.
Прилипало сало талое к ножу.
Мы сходили потихонечку с ума.
Фиолетовый китайский абажур
отражался на клеёнке кружевной.
Наши прежние знакомцы всегда
обходили эту кухню стороной,
а тебя вот угораздило сюда
завалиться, всем ветрам наперекор.
Мы-то думали — побрезгуешь. Ан нет.
Разливался по стаканам разговор
о стихах, о Мейерхольде, о войне
(о какой-нибудь из прошлого — теперь
нам судить о прочих войнах недосуг).
И подъездная поскрипывала дверь,
и очки запотевали на носу —
разлетались, просидевши до зари,
и грустили, протрезвевшие уже,
о нелепости... Но всё-таки горит
в тесной «сталинке», на третьем этаже
абажур... Проснёшься с горем пополам,
вспомнишь — сам ли ты до этого дошёл,
пару пёрышек увидишь у стола
и подумаешь: всё будет хорошо...

Гурам Сванидзе

Жадность судьбы

Рассказы

Сосед

Был у меня сосед по комнате в московском общежитии. Весьма экзотичный тип — якут. Феликс (так его звали) прекрасно играл в шахматы, считался блистательным математиком, и неслучайно — в Новосибирске окончил известную физмат-школу, а потом и университет. Когда нас познакомили, Феликс первым делом попросил показать ему образчик моего почерка. Я показал первую подвернувшуюся бумагу. Сосед внимательно изучил и сказал: «У вас неплохой интеллект, но почерк выдаёт в вас явного шизоида!» На мой несколько недоумённый взгляд пояснил, что увлекается графологией.

— Но вы не беспокойтесь, шизоидность — это не шизофрения, а склад характера. Судя по всему, вы вполне адекватны, — успокоил он.

Другой раз, когда играли в шахматы, Феликс спросил, не водятся ли у меня в роду евреи.

— Ты что, антисемит?

— А ты думаешь, якутом быть менее обременительно? — съязвил он.

Потом рассказал: Феликс изобрёл циркуль для обмера глазных и носовых впадин черепов. Был момент, когда его приглашали в институт антропологии. После этого и появилась мания «вычислять», кто какой расы.

Его интерес к черепам стал поводом для анекдота. Один остряк пустил в общежитии байку о том, как Феликс по ночам ходит на кладбище, выкапывает трупы и, набрав черепов, приносит их в общагу. По ночам на общей кухне он варит их в большом чане. Получившийся бульон потребляет в пищу, а новые образцы своей коллекции показывает всем подряд. Некоторые легковёрные нервические натуры начали его сторониться.

Байка была маленькой мстью того остряка. Он скрывал своё этническое происхождение. Ему хотелось, чтобы его принимали за русского. Феликс «расшифровал»

Сванидзе Гурам Александрович родился в 1954 году в городе Зестафони (Грузия), окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета и аспирантуру Института социологических исследований АН СССР, кандидат философских наук, работал в правозащитных организациях. Автор ряда научных статей по вопросам глобализации, гражданской интеграции, эмиграции, а также рассказов, печатавшихся в российских толстых журналах. Живёт в Тбилиси.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 7.

этот деликатный секрет, причём публично. Он ничего не имел против него и его происхождения. Главным для любителя-антрополога было сделать открытие.

Тот остряк спросил однажды не без подковырки, не угощал ли меня мой сосед своими хваленными супами. Кстати, Феликс любил и находил полезным есть супы. Он считал, что они питательны и содействуют пищеварению, а кроме того — «очищают мозги, особенно в горячем виде».

Когда Феликс занимался своей диссертацией — неизвестно. Круглые сутки он торчал в общежитии, точнее, возлежал на кровати. Не пользовался даже учебниками. Уверял, что решает задачу для некой компьютерной программы.

Однажды он всё-таки посвятил в содержание своей работы. Был вечер. Я собирался в душ, обрядился в халат. Тут Феликс начал «излагать теорию», как всегда, лёжа и уставившись в потолок. Казалось, он проповедует, а не пересказывает концепцию, так как вещал выпендренно и категорично.

Так я простоял в халате три часа. Если бы не томительное ожидание и острое желание встать под душ, я, наверное, что-то выудил бы из вдохновенного потока неведомых мне словес. Запомнилось: «...Трансцендентный и трансцендентальный ряды сомкнутся в виртуальной действительности, и это есть не что иное как овеществлённое человеческое сознание».

Когда убедился, что меня перестали мучить, я поспешил в постель.

— Ты вроде в душ собирался? — последовал вопрос.

— Ничего, завтра утром приму, — ответил я не без намёка: Феликс вставал позже всех в общежитии, поэтому утром помешать мне принять душ не мог.

Но на следующее утро Феликс встал раньше обычного, привёл себя в порядок. Потом разбудил меня.

— Я иду в райком. Составь мне компанию, — заявил он.

Моя реакция на его бесцеремонность глубоко оскорбила Феликса.

— Ты ничего не понял из вчерашнего?! — воскликнул он, тараща на меня свои узкие глаза.

Я хотел было уточнить, о чём шла речь вчера, но спохватился.

— Знаешь, какое бы большое государственное значение ни имели мои наблюдения, всё-таки неудобно заявляться в райком одному. Эти чиновники такие чванливые. И потом, у них манера присваивать чужие идеи!

Сильно хотелось спать. Я отказался от сомнительного паломничества в райком.

Вечером Феликс запаздывал. Но спустя некоторое время некто позвонил в администрацию общежития и сообщил, что Феликса увезли прямо из райкома в Кашенко. В общежитии на меня косились: дескать, мог бы быть повнимательнее к товарищу и не отпускать его гулять по райкомам без присмотра.

Лечащий врач Феликса смотрел на меня испытующе. Спросил, замечал ли я за соседом странности. Я ответил уклончиво: может, да, а может, нет.

— На самом деле у него острый психоз, — сказал врач.

Я исправно посещал соседа в больнице. Феликс был сломлен. Ворчал:

— Ухода нет настоящего. Накачивают лекарствами всех подряд, чтобы смиренные были.

Через некоторое время я вызвал его родителей. Мне впервые наяву довелось увидеть оленеводов. Поводил их по Москве. Потом они увезли сына домой.

Лет через десять в прессе я случайно наткнулся на имя моего соседа. Не помню, о чём там говорилось, но Феликс был упомянут как доктор физмат-наук. Я по-прежнему хожу в кандидатах.

Наследство от идиота

В одном просвещённом московском обществе я принял участие в салонной игре. Все по очереди называли иносказательные фразы, означающие «смерть». Запнувшийся выбывал. Мне, технарю, было трудно тягаться с филологами. Выражения типа «уйти в мир иной», «преставиться», «отдать концы», «протянуть ноги», «отбросить копыта», «сыграть в ящик», «дать дуба», «почтить в бозе» казались им тривиальными, и они снобистски морщились. Игру усложняло то обстоятельство, что компания была многонациональная и допускались переводы на русский. Но и эта поправка не помогла мне, и я долго оставался в аутсайдерах. Одна дама-лингвист записывала новые для неё обороты.

Вдруг меня осенило, и я произнёс: «Ке-ке». От неожиданности все смолкли. Потом попросили перевести, кое-кто засомневался, слово ли это вообще.

Та самая лингвистка, что записывала, заметила: «Знаю я эти ваши кавказские гортанные, или фарингальные согласные». Затем без запинки и правильно произнесла на грузинском: «Бакаки цкалши кикинебс», что означает: «Квакушка квакает в аквариуме». Видимо, она — хороший специалист, подумал я. Но в свой блокнот «специалист» мою фразу не внесла. Между тем, с этим неологизмом связаны многие истории.

Слово изобрёл Важа — местный дурачок. У него была инфантильная речь, что доставляло ему немало неприятностей. Однажды мужчины играли на улице в нарды, когда вдруг принесли весть, что скончался столетний дядя Ваню. Возникла заминка. И тут Важа произнёс: «Ваню ке-ке!» Слово прижилось. У нас, в одном из кварталов тбилисской Нахаловки, оно считалось интернациональным. Правда, русским произносить его было трудно из-за этого «к'».

Что ни говори, такие, как Важа, нужны! Можно было прикинуться Важой, куролесить, лепетать, как дитя. Но без последствий ли?

Одним из первых этим вопросом задался наш сосед Бежан, когда ему стало совсем плохо. До того он долго корил себя за то, что злоупотреблял алкоголем, и тут на него нашло: он наказан.

Случилось это в тот день, когда умер Роберт, молодой парень. Он страдал от беспощадной болезни и скончался в больнице. Позвонили соседке. Женщина вышла из своих ворот на улицу и со слезами в голосе сообщила новость. В это время Бежан с другими мужчинами играл в домино. Он выигрывал и пребывал в хорошем настроении. «Роберт ке-ке!» — вырвалось у него невольно. Но этого никто не заметил, потому что остальные мужчины всполошились и подошли к соседке.

Через некоторое время у Бежана стала побаливать печень, пропал аппетит, появилась слабость. Он вынужден был оставить работу в таксопарке. Потом начал расти живот... Врачи установили — цирроз.

Он лежал в постели, когда в голове щёлкнуло: «Бежан ке-ке!» Стало обидно. Он позвал жену и попросил подвести его к окну посмотреть, что там, на улице. Как всегда летним вечером, мужчины играли в домино, бегали дети. А Бежану слышалось непрекращающееся: «Ке-ке-ке!» Похоже, как гуси гогочут.

Был случай, когда слово стало причиной убийства.

Петре ненавидел своего старика-тестя. Он называл его «пердящей субстанцией». Филиппе (так звали отца жены), в свою очередь, считал зятя неудачником — «умным дураком» или «дурным умником». Тот был единственным, кто имел высшее образование

из всех живших в убане¹, но зарабатывал меньше шофёров и работников прилавка, которые преобладали в соседском окружении. Петре бесило, как Филиппе чавкал во время еды, но особенно — как произносилось им одиозное «ке-ке». «Каркает, как ворон!» Ему становилось жутко, когда он представлял себе картину: он умер, а Филиппе говорит на улице: «Мой зять ке-ке!»

Петре действительно смертельно заболел.

В то мартовское утро он отдыхал на скамейке в садике. Он ослаб. Сидел, кутаясь в воротник пальто. Филиппе ковырялся в земле, подкапывая виноградник. В какой-то момент Петре послышалось старческое брюзжание: дескать, у людей зятя как зятя, а ему, старику, самому приходится в саду ковыряться. Больной разнервничался, в нём вскипел гнев. Он схватил садовый нож, встал, качаясь, и с воплем «ке-ке!» бросился на тестя...

Следствие списало убийство на временное помутнение разума у больного. Петре что-то лепетал, как Важа. И сам вскоре умер. Его похоронили в деревне, далеко от тех мест.

А однажды я услышал это сакраментальное слово в женском исполнении. Моя соседка — врач. У неё жила сестра, приживалка и старая дева. Однажды по просьбе хозяйки я возился у них на кухне, починяя кран. В это время докторша принимала пациентку, обследовала её грудь на предмет опухоли. Слышу, как она сказала женщине, мол, снимок сделай, на ощупь что-то есть. Стукнула дверь, пациентка ушла. Тут приживалка торжественно и радостно выдала: «С ней ке-ке, так ведь?» Обе злорадно захихикали. Пикантности ситуации добавляло то, что пациентка приходилась сестричкам подружкой.

Я помню Важу постаревшим и неприкаянным. Вольности, которые ему позволялись, не делали его счастливым. Этот идиот всегда страдал. Он, может, и не помнил, что одарил Нахаловку таким словом. Но вот в Москве я про него вспомнил.

И ещё, совсем недавно, тоже...

Мне с сотрудниками довелось поехать в Мегрелию на похороны родственника нашего начальника. Мегрельцы вообще отличаются большой изобретательностью по части разных церемоний. И на этот раз нас ожидал «сюрприз». Когда мы вышли из автобуса и понуро направились к воротам, то у самого входа наткнулись на ростовой портрет пожилого мужчины. С холста на нас сурово смотрел человек в сером костюме. Его правая рука выдавалась вперёд, — преодолевая двухмерность изображения, из картины торчал муляж руки. Рядом стоявшие родственники плачущими голосами разъясняли прибывающим, что покойник любил встречать гостей у самых ворот и всегда подавал им руку. Среди людей в трауре я увидел мужчину, правый рукав костюма которого был пуст и заправлен в карман. С жутким чувством я пожал протез усопшего. Одной из сотрудниц стало дурно.

Но вот церемония закончилась. Мы вернулись с кладбища. Зашли в разбитую во дворе палатку с накрытыми столами. Помянули вином умершего. А когда выходили из палатки «под мухой», качаясь, увидели, как мимо нас на тележке провозили портрет. Уже без «руки». Что-то знакомое вдруг послышалось: плохо смазанные колёса тележки издавали «ке-ке-ке».

Кстати, под конец той самой салонной игры в Москве кто-то предложил перебрать словесные обороты — синонимы слова «жизнь». Увы, таковых не нашлось.

¹ Убан — не просто район города, каждый тбилисский убан — это маленький город внутри большого мегаполиса.

Валерий Былинский

Пьяная аллея

Рассказ

Ещё не было восьми. Женщины и старики сидели у своих домов и продавали красное вино, персики, виноград, сигареты. Один из них, друг нашего хозяина, махнул мне: подойди, мол. Я кивнул, взял Яну за руку и быстро прошёл мимо. Конечно, он хотел занять денег.

Мы шли молча. Уже стояла жара, Яна чуть пошатывалась — мы не спали всю ночь. Спускались по дороге, выложенной круглым булыжником, поскользнулись и жмурились от солнца. Открывались магазины, продавцы разгружали трейлер с арбузами и дынями. Внизу, возле почты, открылся киоск с мороженым, а навстречу поднимались те, кто тоже ещё не спал, — они возвращались, пробродив по набережной всю ночь.

— Может, кофе?

Она кивнула. Мы зашли в кофейню, сели в тёмном, прохладном зале за стол.

— О чём ты думаешь?

Слабо улыбаясь, Яна посмотрела на меня и качнула головой. В её глазах я заметил сонный проблеск преданности — то же, что и всегда.

Принесли кофе. Под потолком медленно вращался вентилятор. Мы пили и смотрели сквозь открытую дверь на улицу, где сияло солнце.

— Не хочешь говорить?

Она с улыбкой пожала плечами.

Выйдя на солнечный свет, мы стали спускаться по скользкой каменной лестнице к морю.

На пляже было мало людей. Яна сказала, что не хочет купаться, и я один вошёл в тихую, спокойную воду. Отплыв уже на порядочное расстояние, я вдруг вспомнил свой детский страх, купаясь, встретить утопленника. Казалось, что мертвец тихо толкнёт меня в ногу, когда я буду, как сейчас, далеко от берега.

Я оглянулся: Яна выходила из воды.

Валерий Былинский родился в 1965 году в Днепропетровске. В 1997 г. окончил Литературный институт имени А.М.Горького. Рассказы печатались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературной газете». Лауреат премии «Ясная Поляна» в номинации «Детство. Отрочество. Юность» за книгу «Риф», в которую вошли повесть и двенадцать рассказов. Живёт в Санкт-Петербурге. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 8.

Мы сидели на деревянных настилах в тени под навесом. Её клонило в сон, она то закрывала, то открывала глаза и иногда смотрела на меня, будто пытаюсь что-то понять.

— Хочешь спать?

Яна покачала головой.

Тени смещались. Мы ещё раз зашли в море, и на какое-то время показалось, что не было никакой бессонной ночи.

— Смотри, — я махнул рукой, — вон там раньше была пристань.

— Да, вижу.

— Сейчас там ресторан. Видишь, катера уже не ходят. Совсем не ходят: ни в Ялту, никуда.

— Почему?

Мне показалось, она заполняет паузу. Вчера я думал, что хорошо её знаю. Сейчас я вспомнил, что Яна говорила мне полгода назад, в ночь своего восемнадцатилетия.

«Теперь я знаю...» — сказала она, глядя на меня и как-то по-детски улыбаясь. Её глаза блестели. Качнув головой и, видимо, что-то решив, она добавила: «Всё знаю».

— Наверное, бензин кончился, — услышал я издали свой голос.

Мы оделись.

Обернувшись, я случайно встретил её взгляд — такой, будто она что-то знала о будущем. Я ощутил, что сейчас я вовсе не старше её на десять лет.

— Пошли на Пьяную аллею, — предложил я, — хочешь?

— Какую?

— Пьяную.

— Смешное название.

— Это главное место в Гурзуфе.

— А что там?

— Асфальтовая дорожка вдоль набережной. Вокруг кусты, деревья.

— И всё?

— Ну да. Там обычно собирается куча народа. Сидят, встречаются, пьют. Сегодня приехали мои друзья, я тебя познакомлю.

— Давай.

На аллее толпилось человек тридцать, многие сидели или лежали на асфальте. Рядом с людьми стояли бумажные тарелки с бутербродами, виноградом, стаканы, пластиковые канистры, бутылки с белым и красным вином, тёмный портвейн. Мы сели на бордюр.

— Педагог, — позвал я, — Олег!

Педагог опустил рядом на корточки. От него пахло вином.

— О, вижу, вы огурзуфились, — сказал он, улыбаясь и щурясь на солнце. — Как первая местная ночь?

— Отлично.

— Какой-то вид у вас заспанный. Это наказуемо, Валерка. Припомни чем?

— Исключением из Гурзуфа.

— Вот-вот. Выпьем.

Мы выпили — вино было холодное, терпкое.

— Да здравствует июльское утро! — произнёс за спиной кто-то.

— А почему Педагог? — с улыбкой спросила Яна.

С мокрыми волосами, положив руки на колени, она сидела рядом, касаясь бедром, и иногда быстро взглядывала на меня. На её щеках блестели прозрачные

от солнца капли воды. В её глазах было что-то стоическое — она смотрела вокруг так, словно радовалась боли.

— Это с тех времён, когда я учился в педвузе, — ответил Педагог. — На Пьяную приезжали литовцы, назвали меня Педагогас, вот и всё.

Бородатый, длинноволосый, в чёрных шортах и в чёрных кроссовках, Педагог сидел на асфальте и курил сигарету «Упман». Щурил глаза, улыбался и выпускал дым.

— Педагог приезжает сюда с семьдесят девятого года, — сказал я.

— Не надоедает? — спросила Яна.

— Нет, — шурясь, с улыбкой ответил Педагог. — Гурзуф — это место встречи, раз в год. И Пьяная аллея. Проводим время как хочется. Если кому-то не нравится, он не сидит здесь, и мы встречаемся где угодно, в Коктейль-холле, на набережной... Тебе Валерка, — он наклонился к Яне, — уже сообщил местное расписание?

Яна отрицательно качнула головой.

— Вы квартиру на сколько дней сняли?

— На десять.

— Аллея как раз активно работает сегодня. А завтра... Ради вашего приезда программу можно сжать: завтра ещё денёк, и потом на Мишку с ночёвкой, настроляем рыбы, наловим мидий.

— А Мишка, это что?

— Медведь-гора. Туда и обратно Хендрикс подбросит. Хендрикса видели?

— Неа.

— Он где-то здесь бродит. А потом на Чеховку, в грот Пушкина заглянем, на Никиту.

— А Чеховка, это?.. — спросила Яна.

— пляж, — ответила девушка, сидящая рядом с Яной, — с домиком Чехова.

— А Никита?

Я взглянул на девушку рядом с Яной. Она сидела, низко опустив голову и уперев лоб в сложенные замком пальцы, её длинные чёрные волосы касались земли. Парень рядом что-то тихо напевал и пил из банки пиво.

— По-моему, здесь стало хуже, — сказал парень.

Педагог, улыбаясь, разливал вино. Его размеренный голос крепчал, становясь чётче и явственней.

— Знаешь, неважно, что мы тут вот сидим, болтаем. Главное — почувствовать состояние... Состояние, понимаешь? Вот Валерка помнит, сколько раньше здесь было народу.

— Было когда-то, — кивнул я.

— Аллея умирает.

— Как Рим, — сказал кто-то.

— Говорят, её скоро снесут.

— И построят бар «Пьяная аллея».

— Не-не, банк, — возразил кто-то.

— Банк «Пьяная аллея». Чёткое название, — усмехнулся женский голос за спиной.

— Тут гостиница будет. Отель. Точно говорю, отель.

— «Калифорния», — сказала девушка слева от Яны.

Я услышал: где-то там, в начале аллеи, в кафе под деревьями играет знакомая мелодия.

Педагог прислушался.

— Гурзуф — это отель «Калифорния», — сказал он, шуря глаза.

— Почему? — спросила Яна. Не оборачиваясь, я чувствовал её взгляд.

— Там же бродяги... — сказал Педагог, — хитчхайкеры, ехали ночью в машине, остановились в отеле, а там праздник, огни, весело, все пьют и танцуют в огромном зале. И они тоже стали танцевать. А потом, когда они собрались ехать дальше, оказалось, что покинуть отель невозможно.

— Почему?

— Выхода нет.

— Выхода?

— Ага. Нет выхода, и всё. Веселись, живи внутри, делай что хочешь, — но выйти из отеля нельзя.

— Нет, там другой смысл, — мотнула головой девушка с чёрными волосами.

— Вечный кайф, — сказал парень.

— А потом появляется чудовище и всех убивает, — сказал Педагог.

— Чудовище... — задумчиво повторила Яна.

— А вот и Хендрикс.

К нам подошёл маленького роста мужчина в плавках, с голубыми глазами на сухом измождённом лице — они светились, как две капли морской воды. Хендрикс приветливо поздоровался и спросил:

— Есть накатить, Олег?

Педагог, покачиваясь на корточках, разлил вино.

— Кончилось, — сказал он, улыбаясь Яне. — Сейчас мы с Валеркой ходим.

— Главное, выход найти... — говорила девушка с чёрными волосами на земле.

Мы дошли по набережной до Коктейль-холла, купили несколько бутылок вина, что-то ещё. Почему-то не захотелось возвращаться. Но вскоре это прошло.

Яна всё так же сидела на бордюре аллеи, чуть подавшись вперёд, руки она сложила на коленях и, подняв подбородок, смотрела прямо перед собой.

На аллее уже собралось человек пятьдесят, из двух или трёх магнитол звучала музыка, кто-то танцевал, играл на гитаре, пел.

— План будешь? — спросили у меня за спиной.

— Не-ет, — Педагог щёлкнул пальцами, — я пас... Может, Валерка?

Я помотал головой.

— Аллея — это путь, — слышен был хриловатый голос Хендрикса. Он сидел между двумя девушками и что-то увлечённо рассказывал.

— Путь? — спрашивала одна из девушек, коротко стриженная, — куда же он ведёт?

Мы выпили. Вино было прохладным, терпким и сладковатым. Не поворачивая головы, я взял Яну за руку — её пальцы были прохладными.

— О, Боб приехал, — сказал Педагог, — у него завтра день рождения. Ты помнишь Боба?

— Кажется, да.

Боб, лысоватый, здоровый, в цветных шортах и шлёпанцах, ходил взад-вперёд по заполненной мужчинами и женщинами аллее, откупоривал бутылки шампанского, наливал всем, кто подставлял бумажные стаканы, со всеми здоровался. Ему было лет тридцать пять.

— Боб, кончай лысеть, — сказал кто-то из танцующих.

— Народ! — поднял руку Боб. — Народ! — крикнул он громче. — Завтра я всех приглашаю на свой день рождения в ресторан «Гурзуф».

Я посмотрел на Яну. Потом наклонился и тихо спросил:

— Как тебе?

— Нормально. — Она сидела всё в той же позе, глядя прямо перед собой.

Татьяна Стоянова

Пока хватает жил

Полярный день

Небо створожилось, солнце-желток
В облачный кто-то взбивает пирог.
Лето. Полярный взбухающий день
Тени наводит на белый плетень.
Тени доходят до края земли,
Чтоб заглянуть за него мы смогли.
Тени доходят до края небес,
Там, где из тундры рождается лес.
Светом и тенью мы встретимся здесь,
Как с океаном — небесная взвесь.

Тундра

Тундра умирает — под колесом.
Мёртвый лишайник — почти невесом.
Мох укрывает — олений след.
Ягель приложишь — и раны нет.
Вкус вороники во рту — как мёд:
Ягодно-водный круговорот.
Стой: там морошка в камнях цветёт.
Словно зелёное море — вброд —
Тундру пройти и срастись со мхом.
Северным, ветреным стать стихом,
Чтоб каждым летом спешить цвести,
Жизнь, словно воду, неся в горсти.

Стоянова Татьяна Николаевна — поэт, куратор литературных проектов. Родилась в 1990 году в Кишинёве (Молдавия). В 2008 году переехала в Москву. Училась в РГУТиС и Московском государственном университете печати. С 2015 года работает в издательстве «Редакция Елены Шубиной». Автор сборников стихотворений «Матрёшка» (2019) и «Контур тела» (2023). Переводит стихи с румынского, гагаузского и других языков. Лауреат и финалист литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве.

В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

Река

Пусть мы предвидели беду,
За ней шли, как за проводницей,
Я в реку ту опять войду,
Что может дважды стать границей
Меж этой жизнью и другой,
Где бурей словно накренило
Тебя — надломленной сосной —
С такой неистощимой силой.
Я в реку ту войду, к корням
Твоим незримо прирастая,
Реке тебя — я не отдам.
Вода мертва, а я — живая.

Паруса

Я время заговариваю так:
Пусть он придёт ко мне уже сегодня.
Пусть с корабля сойдёт по шатким сходням
Мой самый обожаемый моряк.
И я его на пристани найду
И парусам отдам поклоны в пояс.
И лишь тогда, наверно, успокоюсь,
Что он приплыл, что не попал в беду.
И станет ясно мне там у воды:
Моя любовь, как ветер, рвётся в парус —
С такую силой, что для нас беды
Уже на этом свете не осталось.

Обход

Каждое утро я делаю новый обход.
Кто-то ушёл за черту, но ещё живёт.
Кто-то остался, меня исключил из жизни.
Кто-то отчаянно хочет уехать — виз нет.
Кто-то уехал, приветы мне шлёт из Ниццы.
С кем-то рецепт мы придумали — русской пиццы.
Кто-то ушёл навсегда, не вернётся больше.
Кто-то мне пишет: «Пешком мы дошли до Польши».
Кто-то ответил: «Мертвы, прилетело в спины».
Кто-то кричит: «Никогда не отдам им сына».
Каждое утро я делаю новый обход.
Сколько потерь ещё?
Сколько?
Кто их спасёт?

Жизнь

что господь
за нас решил?
жить,
пока хватает жил.
петь,
пока хватает ног.
ждать,
когда он сам придёт.
ждать,
когда он скажет нам:
здесь сходитьсь
полюсам,
там дорогам
разойтись.
что господь придумал?
жизнь.
в каждой
из мельчайших крох
всё вокруг на свете
бог.

Елена Черникова

Рассказы о времени

Незаметные

Лев Ефимович поправил ремень безопасности незаметно, но водитель заметил и поправил кресло, и выключил радио, уточнил об окнах и сквозняках, заметив между делом, что его дядя учил: «Пока только водишь, ты ещё не водитель. А поймёшь, что главный в машине — пассажир, тогда ты водитель!»

Лев Ефимович незаметно присмотрелся: радостный молодой азиат излучал добродушие, рулил уверенно и аккуратно.

Разговорились и свернули на Коран. Отметили единство взглядов на мирную жизнь и дружбу народов. Выразили сомнение, что нефти хватит на всех.

На перекрёстке у стадиона луч прожектора окатил лица собеседников. Азиат незаметно вгляделся в пассажира, читавшего — хоть и в переводе, но всё-таки! — Коран, и неожиданно сказал, что Лев Ефимович не похож на русского.

— А я и не русский, — подтвердил Лев Ефимович.

— А кто же? — неподдельно удивился водитель.

— Я еврей.

— Впервые вижу еврея так близко! — восхитился водитель.

— Детство — нефть для писателей, — вернулся к теме нефти Лев Ефимович.

Водитель не понял и почтительно вышел из диалога. Прошли последний поворот. Приехали. В окне свет: жена ждёт. Глубоко довольные друг другом, собеседники неловко обменялись деньгами, будто платить за проезд и давать сдачу после хорошего разговора следует незаметно. Простились друзьями, хоть и навек.

Лев Ефимович поднялся к себе, взял жену и пакет с мусором и пошёл на вечернюю прогулку. Мимо дворовой помойки теперь приятно ходить, поскольку экологично, и сбор декларирован отдельный. Европейных затей он не любит, но что-то в них всё-таки есть.

У контейнера, но слишком близко, мялся интеллигент с картинки: чёрная бородка волосок к волоску, роговая оправка; густые соль-с-перцем волосы мыты, причёсаны. Увидел Льва Ефимовича, незаметно кивнул, признавая за товарища,

Черникова Елена Вячеславовна — прозаик, автор романов «Золотая ослица», «Зачем?», «Скажи это Богу» и других, сборников, а также учебников по журналистике, публицистических статей и пр. Произведения переведены на восемь иностранных языков. Публиковалась в журналах «Октябрь» и «Знамя». Ведёт литературный клуб в «Библио-глобусе» с 2011 года. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 3.

и вежливо сказал впотьмах, что сам он кандидат филологических наук, *но ведь это теперь никому не нужно, да?*

— Коробочка очень хорошая, возьмите. У меня ещё есть! — и кивает в сторону контейнера, полного неисчислимых сокровищ.

Лев Ефимович, как электротоком пробитый, отскочил назад, к жене, наблюдавшей со стороны. Она всё видела и тоже дёрнулась и слёзы потекли; никогда не знаешь, отчего заплачешь.

— Асира твоя сегодня выбрала мне пять настоящих помидоров, не резиновых, — внезапно сообщила жена Льву Ефимовичу. — Хорошо, что ты со всем базаром на языках говоришь.

— Ну, слов по десять плюс дружелюбие ко всем народам. Но в данном случае дело не только в моём природном обаянии. Асира у себя в Самарканде преподавала русский язык и литературу... — пояснил Лев Ефимович, уводя жену подальше от помойки, у края которой переминался, стараясь быть незаметным, соль-с-перцем кандидат, ценитель пустых коробочек.

Календарь

«Вымойте руки тёплой водой с хозяйственным мылом и коротко обстригите ногти», деловито начинался рецепт.

Мне скоро семь лет. Календарь отрывной полон жизни законно-заоблачной. Дедушка покупал и вешал полный год, по утрам отрывал прожитые сутки, выбрасывал вчерашний день, а я подбирала и читала новости дробного мира взрослых, в котором бумажное время шуршит борщами, восходами, закатами по расписанию, справками о великих, историческими правдами, великими рекордами, вязальными уловками, шахматными задачами вперемежку с огурцами, картофелем на сале, выкройками фартука, космонавтами в округлых шлемах. Земной шар, обклеенный зеркальцами, кружится в потоке солнечного ветра под недоступным потолком недоступного ночного дансинга — мира легитимных, по паспорту, взрослых, имеющих спорную власть над нами, детьми, хоть и вовсе я не была детью, это мерзко, мне скоро семь, и детство как социальный институт осточертело мне гуттаперчевой нескончаемостью и тягостной, неизбежной виной перед старшими, у которых, я уверена, нет права держать меня за маленькую, пороть словами, насмехаться, терзая мнимым нашим неравенством перед временем. Теперь-то я могу любить их, а тогда мне ну не хватало слов. И я читала календарь.

Календарь тоже намекал на горизонты, но его я не боялась: он ведь не ругал меня. Я его любила. Календарева юбка-клёш всё выше задиралась к весне, опадала к Новому году, пройдя ежеутренние пальцы пользователя. Дедушка заводил часы. Дедушка обслуживал календарь. Дедушка имел два Ордена Ленина и никогда не рассказывал за что. Полагаю, за время в двух значениях слова.

Серо-жёлтый цвет календарных листков сулил радугу, блестящий поворот жизни, *plie*, батман и вселенную. Начисто лишённый логики, календарный мир завораживал красотой торта, энергичными пассажами из Программы КПСС, ингушскими сказками, линогравюрами с весенними разливами, словно танец тысячерукого ансамбля «Берёзка», пусть даже через пирожки с капустой. Ничего страшного. «Капрон в 2 раза прочнее на разрыв, чем шёлк, в 6 раз прочнее шерсти». Печатали, понятно, *шелк*, а не *шёлк*, экономия краски на двух точках — государственное дело. Теперь я, как говорят оппоненты, *эффикатор*, и везде ставлю *ё*.

Я взгляделась во вчерашний день и перечитала странный текст, посвящённый *Восьмому марту*.

Праздничный аноним, а календарные советчики все до единого были безымянными, учил сегодня девиц и женщин страны Советов обмывать наружные половые органы по правилам социалистического общежития. Телеграфным стилем без академических затей он поучал, как присесть над ведром и в каком направлении лить кипячёную воду. В самое сердце били слова — «от лобка в сторону заднего прохода». Понять — трудно. Не получалось. Акробатика — чтоб и над ведром, и лить противу земного притяжения. Да ещё ногти. Надобно состричь их, пишет аноним, до начала помывочной процедуры. Воображение отказало, я загрузила.

Ногти среднего человека растут со скоростью 0,36 см в месяц. Отрезать их два-три раза в день — можно достричь до плеч.

Опечатка? Но в советской прессе — повременные календари входили в систему СМИ — не бывало никаких опечаток. В дошкольный мартовский день я ещё не слышала о революции, цензуре, классовой борьбе, но пишу-то я сегодня, когда уже знаю прессу, СМИ, систему, опечатки, посему мне можно, и не будем прикидываться, что все обязаны вспоминать детство на языке детства и сами себе сюсюкать. Не обязаны.

...Может, взрослые дамы, чтобы, как велит календарь, *коротко* отстричь (а в дошкольном марте я всё ещё думаю про два-три раза в *день*, а не в *год*), должны наклеивать особые ногти? Всё было прекрасно в календаре: и лицо, и душа, и соус, и скатерть, и странные скоростные ногти. Но в годы моего так называемого детства салонное наращивание ногтей не практиковалось. Женщины ходили все лакированные красным, чинные горожанки в платьях и рюшах. Разве лишь клоуны — я страстно любила цирк — прикладывали ресницы, носы, рыжие патлы для вечно праздничного выхода на арену по вечерам и плакали, если падали. Понимаю. Ногтей в Воронеже никто не клеил, а время звалось *оттепелью*.

Сырое имя пастельной эпохи тонких талий много позже узнала я не по парикмахерскому поводу. По политическому. Но в оттепель не было, никогда не было даже в цирке женщин с отрезанными до плеч ногтями. Что же хотел сказать автор, веля коротко стричь перед омовением? А если не стричь всякий раз перед омовением, — что будет? Сто лет спустя догадалась я, что имелось в виду устранение из-под женских ногтей вьезшегося навек чернозёма.

Воронеж, место действия, где висел и рвался календарь, является центром Черноземья. У многих воронежских женщин были мужья. Иногда казалось, что у всех. Я верила текстам из календаря, сказкам Шарля Перро, балетной музыке Чайковского, каватине Антонины из оперы «Иван Сусанин». Мой кругозор ширился хаотично, словно многомудрые страницы отрывного календаря сами вклеивались обратно, путая очерёдность, но весёлый порядок обратного вклеивания дней не имел значения. Всё было равновелико на заре клипового мышления.

Здесь отступление. Цирк я любила самозабвенно, до одури. Сначала в город приезжало шапито. Чтобы видеть рай хоть краем, я взбиралась на бетонную тумбу паркового фонаря и — ориентируясь на непостижимо прекрасный аромат опилок — вперёд! — улетала сквозь хохочущий неземными огнями просвет парусиновой стены шатра. А как построили в городе каменный стационарный, — распоясалась и ходила на все программы вся целиком, не с фонарной тумбы в парке. Восторги партера, раздолье двадцатого ряда. Обожала Ирину Бугримову, Марицу и Вальтера Запашных, мечтала спать в клетке с тиграми. Моя бабушка в юности рвалась в цирк, но ей пришлось оставить мечту ради замужества. Бабушкин опыт — в её пересказе — подводил меня к нормальному детскому выводу, что лучше в клетку с тиграми, чем

замуж. Я не связывала этот жуткий замуж с чудесным моим дедушкой, распорядителем нашего семейного времени: актуальным календарём и старинными часами заведовал только он.

И зачем календарь советует остричь ногти коротко, вымыть руки хозяйственным мылом, обмыть наружные половые в теплую — не сразу сдавала мне секреты большая жизнь. И таинственное ведро, и незримый чернозём, и нереальное направление в сторону заднего прохода, и стрижка ногтей по плечи — непрогоревшими поленьями дымила в мире взрослых недосказанность, хотя все безупречно светились правдивостью. В мае, на Девятое, бабушка рассказала мне, как она с тремя детьми ехала в эвакуацию через Сибирь, когда дедушка служил на Отечественной войне, и наконец просверкнула в моей голове догадка, что на войне ванны нет.

Я не спрашивала взрослых, почему небо голубое. Читатель букв трёх-семи лет от роду похож на юного бога: всемогущ. Если никто не сказал мне, что сословия, что классы, что прослойка, что история творится над ведром и с хозяйственным, если повезёт, мылом, то чего вы хотите — я ходила в цирк и смотрела всё подряд, чтобы понять взрослых: откуда у них рюши, пыльники, каменный стационарный цирк, если ещё вчера было такое стабильное ведро, что оно пролезло в календарь к бабушке, прямо на стену, а ведь бумага всегда говорит правду. Правда? У моей второй свекрови были перчатки до локтя, лайковые. Она взяла их в новый век с его горячей водой, мылом Сапун (тут мокрым шёпотом — *любимое мыло английской королевы*), центральным отоплением и почти повсеместно живыми мужьями. Связать горячий душ и перчатки до локтя с поганым ведром, хозяйственным мылом, бабушкиными орденами, тихими голосами — вообще связать времена — трюк, но потаённо в глубинном народе шелестит отрывной календарь, полный необычайных лайфхаков, как музыка спасенья, и на его иконе образ триединого — тристаединого — времени.

Вчера в метро:

— Времени нет *уже* или не было *никогда*? — спросил меня ребёнок лет четырёх, листая айфон.

Не знаю, малыш. Мы своенравно дёргаем время за усы, вызываем и засовываем джинна, до кровавых мозолей стирая горло бедной медной лампе; щупаем время за печатные соски, тискаем его ляжки, щечком его пятки — о, мы грешные! Когда стала, прости Господи, я историком, поняла: календари надо коллекционировать. Как словари. Я тебе, малыш, вот что скажу: важно читать отрывной календарь на заре. А дойдёшь до материнства-отцовства, вспомни: вешать на доступную стену и позволять ребёнку выщипывать шершавые крупички времени — хорошо.

— А если там фейки?

— Есть и хуже фейков: на Женский день *8 Марта* поздравляют *милых дам*, не страшась моего гнева. Что такого? Ну да, ну да. Невежество простодушно, а единственное место парковки милых дам — бордель в стабильные времена, где гусары носили ментики, пили шампанское. Нигде более *дамы* не бывают *милыми*. Ошибка хуже фейка.

Ребёнок выслушал с интересом и углубился в чтение. В айфоне тоже есть календарь. Не отрывной. Неотрывной. Тристаединство времени.

Минутная стрелка

Дедушка встаёт на потрёпанную табуретку и заводит настенные часы красивым недоступным ключиком. Мне три, потом четыре года, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать лет. Я молча соприсутствую в ожидании счастья. Кованые плечики ключика выгнуты фертом осанисто. Французским часам

1885 года рождения хватает, вообразите, одного завода на две недели. Дедушка взял их в свою семью, в Воронеж, после войны.

Два раза в месяц уютный сухой поскрип ключа в циферблате, и дедушка загадочно улыбался, и торжественность любви к часам — ах, даже в детстве бывает что-то хорошее. Часы остановились, когда умерла старшая дочь дедушки, молодая женщина. Дедушка постарел и вынес часы в сарай, поскольку слушать хриплый вой времени стало невыносимо.

Часы протомились на сырой полке лет двадцать — в погодных и моральных условиях, не подобающих возрасту, заслугам и происхождению. Когда у меня появилось жилище в Москве, я, по завету бабушки, перевезла часы с полки воронежского сарая на московскую стену.

Им плохо. Футляр — красное дерево и туманное стекло — выдержал, но механизм устал ждать. Время, утраченное часами за годы заточения в сарае, накопилось: оно не получало выхода в голос.

В обычных мастерских чинить не брались, советовали сдать трофейного француза в музей, в театр или на помойку. Чтобы вернуть механизму жизнь, требовался гений с фантазией.

У меня есть особенность, и я поводила рукой по-над газетным листом «Вечерней Москвы». Над объявлением «Ринат, часы» ладонь потеплела, и я ему позвонила.

Ринат оказался художником часов. Он делал часы прошлых веков точь-в-точь. Сам их сочинял, сам продавал. Он пришёл ко мне на Малую Никитскую как домой, рассказал о своей жене и двух машинах. Мы весело поболтали о математике, вечности, триединстве времени, барочных корпусах и перламутровых инкрустациях, человеческих потребностях и других светских пустяках. Ринат изъясил механизм, оставив пустоту внутри футляра, уехал дней на десять. Вернулся и, вешая часы на интуитивно правильную стену, наконец заговорил по делу.

Он сообщил, сколько детей было у моей бабушки с моим дедушкой (точно), как их воспитывали (сурово) и что им внушали (честность и самоотверженность).

Часовщик пересказал свой диалог с моими часами. Оказалось, в ходе реставрации узнал он о моих предках больше, чем знала я. Повторяю (обычно мне не верят): фамильные тайны, хранившиеся в памяти часов, стали известны совершенно постороннему человеку¹. Я предложила чаю, Ринат охотно согласился, мы разговорились уже всерьёз, и тут он предупредил, что наше время — производное от часов.

Потом он объявил их волю: в ходе ремонта часы переподключились и признали меня хозяйкой, и теперь у меня новый чуткий друг с вечным механизмом. Оказалось, в воронежские времена часы признавали хозяйкой мою бабушку. Я-то думала, что дедушку, потому что ключик фертом и регулярность улыбки, но нет, они всю жизнь чтили бабушку.

Ринат велел регулярно чистить механизм, и я долгие годы чистила механизм — разумеется, руками Рината. Часы ни разу не подвели. Если я была виновата перед собой, часы подавали сигнал тревоги. Например, однажды я вступила в повторные отношения со своим вторым мужем, чуть было не приведшие к воссоединению семьи. Наш общий ребёнок не возражал, мои родственники не возражали, но часы восстали: повернулся белый циферблат, бой раздавался минуты на три раньше положенного, я

¹ Сомневающимся отсылаю к известному холсту С.Дали «Сохранность памяти» (1931). Кстати, превосходный вопрос для телевикторины: который час показывают стрелки на картине Дали?

с некоторым ужасом узнала, что значит *преждевременно* в прямом смысле. Часы перекосило.

Звоню Ринату. Приезжает, осматривает больного и говорит:

— Никаких механических повреждений нет. Будем разбираться.

Я ушла на кухню заваривать наш дежурный чай. Ринат вынул из корпуса механизм.

Когда я вернулась в гостиную, часы уже были водворены на место, то есть над моим письменным столом, работали нормально, бой раздавался когда положено.

— Вы маг, — сказала я часовщику как обычно.

— А вы что-то натворили в вашей личной жизни, — ответил чародей. — Вы страшно сопротивляетесь ситуации, которую сами же и создали, отчего ваше поле и своротило часы. Ещё что-нибудь произошло в доме? Часы в большой тревоге.

— Да, — говорю. — У старинного рояля, вот этого, струна лопнула, клавиша запала в тот же день, когда часы свихнулись.

— Понятно, — кивает головой мастер. — Чуткие старинные предметы, обладающие душой, совершенно естественно отреагировали на ваше поведение. Электронные тупицы... — он кивнул в сторону телевизора и видеоманитофона, — небось в порядке?

— В порядке.

— Естественно. Им хоть бы хны. Им до вас и дела нету. А старики, — он любовно посмотрел на часы, на рояль, — живые, равнодушные, они реагируют, как люди. Вы бы изменили ситуацию, а? Сможете? Или хотя бы измените своё отношение к ней, а то не ровен час своротите полем ещё что-нибудь. У вас энергетика. Когда вы резко недовольны, то чуть поведёте, скажем так, энергетическим плечиком — дом разнесёте. Будьте осторожны со своими эмоциями.

Потом мы за чаем поговорили часок о роли невидимого мира в развитии событий видимого — и расстались ровно на два года.

Я послушалась часовщика. Изменила и ситуацию, и отношение. Часы пошли ровно, хорошо; восстановился режим подзавода; нежно-хриплый голос будто прокашлялся и обрёл свою благородную бархатистость.

Потом в мою жизнь вошёл прекрасный новый мужчина, на которого часы не отреагировали. Шли себе да шли, не останавливались даже через две недели после подзавода — и вдруг принялись останавливаться чуть раньше положенного. Дали первый сигнал опасности. Словом, сначала вели себя лояльно, в меру критично, без особой паники, но через полгода, когда прекрасный мужчина познакомил меня с философией *молчи, женщина*, часы забузили. Однажды меня не было дома две недели, часы остановились, прекрасный мужчина открыл дверцу и своей рукой провернул минутную стрелку, полагая, что все часы одинаковы и надо просто покрутить. Бой ровного часа стал раздаваться в половину, а бой половины — в ровный час. Перекосило по-крупному.

Возвращаюсь домой, вижу результаты варварства, чуть не плачу. Позвонила Ринату, он приехал, сверкнул чёрными татарскими глазами, помолчал и надолго увёз больного к себе в мастерскую. Когда починил и вернул, то строго меня отчитал: пусть никто чужой никогда не прикасается к моим часам. Последнее предупреждение. А прекрасный мужчина, который нагрубил часам, пусть обратит внимание на своё здоровье.

По традиции мы с мастером выпили чаю, на сей раз поговорив о влиянии видимого мира на невидимый. Волшебник открыл свою тайну: как он сам напитывается энергией памяти старинных часов. Ринат ясно видит через часы не только прошлое. Ему синхронно открывается будущее, он видит вещие сны, применимые практически, в деталях, потому что всё происходит всегда, и сам он живёт без исчисляемого времени,

его внешность не меняется с годами. Собственно, все серьёзные люди знают, что мысль задаёт форму материи. Ринат полагает, что те автомобильные аварии, в которые он мог попасть на любой из его машин, но вовремя увернулся, запомнив собственные сны, суть знаки на невидимых магистралях: ты на правильном пути, ты нужен, ты знаешь, что время едино, а для незнающих — чинишь и чистишь путь.

Открыв мне глаза на суть и роль моих часов, он строго повелел жить чисто, стремиться к светлому и доброму.

— Точность обретения часов — залог здоровья. Если у человека есть механические часы, надо с ними договариваться о принципах.

По профессии Ринат математик. По душе — художник.

— Круглое окно циферблата открыто в обе стороны вечности. Любишься и помни, зачем ты здесь находишься, — вдруг перейдя на ты, возгласил художник.

Знаете, каким трюком он поправил мои покосившиеся часы, когда я неосторожно крутанула судьбу в обратную сторону, то есть чуть было не вернулась к прошлому мужу, — вам открыть секрет? Ринат снял большую стрелку и переустановил её лицом к циферблату, а изнанкой к миру. Вывернул символ буквально руками и запустил моё время в нужном направлении. Это в первом эпизоде, с бывшим. А во втором эпизоде, более грубом, Ринат вернул стрелку в исходное положение. Сказал строго, что предупреждение мне — последнее. Чтобы глупостей больше не делала, не шутила со временем. Стрелка-то минутная.

Марина Сычева



Камень/море

Рассказ

Ступеньки бьются в подошвы: взмываю легко, словно на ногах таларии Гермеса. Навстречу мячиком от пинг-понга прыгает смех.

— Здрассти, Марин-Николаевна! Причёска топчик!

— Спасибо, Анфиса, — ерошу ёжик над левым ухом.

— Маман разрешит — тоже висок выбрею, — на бегу обещает она. Хитро сверкают по-монгольски узкие глаза. Смеюсь. Такой и разрешение не нужно.

Школа гудит, взбудораженная криками и встречами, не опомнилась ещё после летней спячки.

На третьем особенно шумно: гогот, задиристые окрики. Непривычные, басовитые. Вон они, мои бэшники. Удивляюсь вместе со стенами: недавно были щуплые и писклявые, а теперь выше меня на голову, девчонки расцвели, у парней плечи широкие. Короче, девятиклассники.

Рассмотреть бы их всех, расспросить. Но на полпути к нашему триста седьмому меня ловит тревожный треньк телефона: «Спуститесь. Срочно». Это завуч, Владислава Петровна.

Вниз спешу суетливо, куда исчезли невидимые крылышки с балеток?

— Полюбуйтесь, какой красавец! Первый день учёбы, а у него зелёный чуб! Решил податься в клоуны? Сначала нужно школу окончить!

Каждое слово — выстрел из чётко очерченных сливовых губ. Для Владиславы Петровны (строгий шоколадный жакет, блузка в цвет помады, волосы в тугом пучке) наряд Матвея за гранью понимания.

Кем-кем, а клоуном Мотьку не назвать. Стиляга. Короткие брюки в серо-зелёную клетку и кислотный взрыв на голове.

Он стоит напротив завуча, как перед расстрелом: умрёт, но гордо. И молчать не станет, нашла коса на камень.

— Пф... Цвет волос что, влияет на аттестат? Или штаны?

— Это не школьная форма.

Сычева Марина Максимовна родилась в 1991 году и живёт в городе Кемерово, окончила факультет филологии и журналистики КемГУ, работает учителем русского языка и литературы. Автор этнического фэнтези на основе якутской мифологии «Солнце в силках». Участница межрегиональной писательской мастерской АСПИР в Екатеринбурге (2022). Рассказы печатались в журнале «Огни Кузбасса» и в альманахах.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— И что? Я ж не голый пришёл. Брюки, рубашка...

— Брюки? Вот это недоразумение? В нашей школе цвет формы тёмно-синий.

— Так вы, Владислава Петровна, тоже устав нарушаете, — ухмыляется, стервец. Сжимаю губы, удерживая смехок.

Завуч тоже сжимает губы. Только ей не смешно. Тяжёлый подбородок становится ещё более квадратным.

— Нет, вы посмотрите, как он заговорил! Я учитель и завуч, а не школьница! Своё уже отучилась. И форму носила прилежно. — Она придавливает взглядом сначала Матвея, потом меня. — Марина Николаевна, свяжитесь с мамой этого попугая. Надеюсь, завтра его внешний вид будет соответствовать требованиям.

Киваю, что мне остаётся? Но Мотыка и тут не успокаивается:

— Напугали! Свяжитесь! Кто мой лук спонсирует по-вашему?

Мотыка выходит. Я иду следом, но в спину бьёт железобетонное:

— Оставайтесь, Марина Николаевна.

Оборачиваюсь. Владислава Петровна уже стоит за столом, массивным и почти пустым: ничего лишнего.

— Вы как классный руководитель должны были меня поддержать, а не отмалчиваться. Вдвоём мы бы повлияли на мальчика.

— Владислава Петровна, — делаю шаг вперёд, — я знаю Матвея четыре года. Для него важно быть на стиле, и мать его поддержит.

— Он превратит школу в филиал цирка. Сегодня один с зелёным чубом, завтра — полшколы. Этого нельзя так оставить. Дети не должны задавать нам свои правила. И родители тоже.

Вздыхаю.

— Поставьте себя на место матери: брюки модные, они денег стоят. Станет ли она из-за ваших претензий срочно убирать их в шкаф?

— Вот пусть он на дискотеки в них ходит.

— Боюсь, на дискотеки они не в таком ходят.

Владислава Петровна молчит, смотрит выжидательно: и что вы предлагаете, Марина Николаевна?

Сквозь приоткрытую дверь из-за моей спины доносится гул школы. Там — живое. Кипит, движется. Здесь — тишина как манифест порядка. И я не хотела бы работать в месте, где тишина станет для детей нормой.

— Матвей — парень сложный. Лучшая защита — нападение. Так он думает. И потому говорить с ним нужно иначе. Позвольте, я...

— Не смейте его оправдывать! — хлопает открытой ладонью по столу. Ободок перстня-печатки ударяется о столешницу. Невольно отступаю. — Вы мягкая, Марина Николаевна, и слишком много им позволяете. Вот они и выходят за рамки всякого контроля. Это ваше влияние!

— Моё влияние?

— Безусловно. Это понятно, стоит только взглянуть на вашу причёску. Дурной пример, знаете ли, заразителен.

Иду к кабинету. Злая как чёрт. А в голове эхом из прошлого совсем другой разговор.

— Ма-ам? Я пришла! — скидываю кеды. Шаг, поворот на носочках, ещё шаг. Вот и зеркало! Подмигиваю своему отражению и запускаю пальцы в растрёпанные пряди мятного цвета.

— Марина! Это ещё что? — мама замирает в дверном проёме.

— Хватит с меня костюмов, блузок и прочего! Свобода!

Кружусь, взмахивая многослойным подолом юбки цвета морской волны.

— Господи, о чём ты только думала? В шестнадцать мы пережили чёрный с ног до головы, пирсинг и ботинки весом в килограмм каждый, но теперь? Ты же учитель!

— Ну и что? Я в отпуске, мам. — Радость разбивается о её тон, сползает с меня, как старая краска.

— Но ты не в вакууме живёшь! Встретишь учеников, их родителей, коллег... Какой скандал будет! Работу потерять захотела?

Как мы с ней тогда поругались!

Через год мамы не стало. Рак беспощаден, изгрыз её за несколько месяцев. А я... До сих пор чувствую обиду. Даже теперь, когда её нет.

Железная Владислава Петровна с мамой бы согласилась. Учитель не должен выделяться. Об этом ещё Чехов писал: как бы чего не вышло!

В триста седьмом тишина. Вязкая, неестественная. Мотыка успел рассказать о стычке с завучем. Сидит на последней парте, смотрит инопланетным волчонком.

Вздыхаю. Никакого желания начинать урок с изюминкой нет.

— Открываем тетради, мои хорошие. Записываем число.

Строгая зелёная доска задумчиво наблюдает за завозившимся классом.

* * *

Перемена — маленькая жизнь. В коридоре не столько тесно, сколько громко. Стайки детей кочуют от кабинета к кабинету, тараторят так, словно это последний шанс наговориться. Мелькают усыпанные значками рюкзаки да голые лодыжки.

А за высокими окнами — ноябрьская метель. Тоже куда-то спешит, не уgomонится.

Взгляд цепляется за подвижную девочку в толпе семиклассников. Анфиска! Она не то что висок выбрила — треть головы. Интересно, в этом тоже меня обвинят?

Развить эту мысль мне не даёт ураган по имени Никита: он прорывается сквозь группу семиклашек и едва не налетает на меня.

— Коротков! А ну вернись! — успеваю крикнуть вдогонку. Ник тормозит.

— А я-то чё, Марин-Николавна? — разводит руками, дурачок. Мне смешно, но важно сдерживать улыбку.

— Убиться хочешь? Или меня зашибить? Удобная позиция: нет учителя — нет контрольной.

— А чё? Я ж не задел даже: лавирую, как гонщик.

— Давай сбавим скорость, не... — Ирония застревает в горле: толстовка с ярким принтом. Этого достаточно, чтобы обратить меня в Горгону. — Почему не в форме?

— Да я-то чё, я сниму... А вы лучше на носки Мотыки гляньте, закачаются!

— Носки? И что с ними не так? — Над бровью включается боль, словно кто-то упорно давит на неработающую кнопку.

— Не-не, сами смотрите! Я ничё не говорил.

Вот поросята! Стулья подняты не все, на доске дурацкие сердечки. Хватаю тряпку. Чёрт! Несколько кусочков мела падает на пол... Не растоптать бы. Зло смахиваю белые линии, нагибаюсь.

— Здравствуй, Мариночка.

С перепугу больно ударяюсь локтем о железный желобок. Оставшиеся мелки рассыпаются по полу.

Чёрт! Чёрт! Чёрт!

На приветствие отвечаю невнятным бурчанием.

Инга Геннадьевна, устроившаяся на последней парте с тетрадями, конечно, не виновата. Это мне пора нервы лечить.

— Тебя Владислава Петровна просила зайти, — добавляет она.

— Видимо, чтобы лекцию мне прочитать. О носках.

— О носках? — от тетрадей Инга Геннадьевна взгляда не отрывает. Только подведённые чёрным брови вопросительно изгибаются.

— О не соответствующих форме носках. — Успокоиться не получается. Набрасываюсь на стол. Давно пора разгрести эту гору макулатуры: раздаточный материал, документы, какие-то записочки... — У Матвея новая форма протеста: вчера носки с Гомером (Симсоном, конечно), сегодня с логотипом виски. Увидит Владислава Петровна — опять скандал выйдет. Ой, легче выкинуть все эти бумажки, чем разобрать!

Инга Геннадьевна усмехается и перечёркивает что-то в лежащей перед ней тетради. Вот кого вряд ли дёргают из-за подобных вопросов: спокойная, всегда в платьях да при мэйкапе, и дети с ней не спорят никогда.

— Самой от себя мерзко!

Сажусь. Ладонь прижимаю ко лбу: боль над бровью всё не утихает. Потом привычно ерошу ёжик над левым ухом: тут я позиций не сдала — причёска та же.

— Меня не носки учеников должны волновать, а знания!

— Послушай, — Инга Геннадьевна закрывает последнюю тетрадь и выпрямляется. — Школьная форма — это всего лишь требование. Не мы придумали — не нам менять.

— Да, но я-то почему должна цербером за детьми из-за этой формы бегать? Владислава Петровна как помешалась на этом... Нашла причину! Дети требования не исполняют, а виновата моя причёска!

— Владислава Петровна, конечно, перегнула палку. Но в целом она права: форма дисциплинирует. Что до индивидуальности... Самовыражаться нужно не во внешности, а в поступках.

Вздыхаю. За окном всё ещё выюжит. Строгий монохром: чёрные ветви рябиновой аллеи, безъягодной в этом году, и снег.

Неужели я ошибаюсь? Коллеги опытнее меня, на уроках у них всегда тишина, все трудятся, а у меня... То и дело приходится кого-то успокаивать да усаживать, и болтают, бывает...

Стать строже? Принципиальнее? Чаше звонить родителям, следить за соблюдением правил... Так нужно.

Но почему-то от этой мысли горько.

* * *

Тетради проверены, уроки подготовлены, можно и отдохнуть.

Монитор приветливо мигает. Устроившись в кресле, я ставлю ноут на колени и открываю браузер.

Скольжу вниз по ленте новостей ВКонтакте. Подруга на пляже в Турции, котики, стихи... Кто тут у нас? Бродский призывает не выходить из комнаты. Я с ним солидарна. Хочется тишины, даже музыку не включаю.

А это что? Заголовок кричит: учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике. Кликаю по ссылке.

Что, серьёзно? На фотографии девушка в закрытом купальнике на фоне ещё покрытого льдом озера, с грамотой. Соревнования моржей, значит.

Листаю дальше. А вот ещё похожая история, почти год назад. И тоже соседка — историк из Омска. Фотосессия в стиле пин-ап. Как на старых открытках. Вполне приличная.

Александра Малыгина



Этот панельный рай

* * *

Обычный полдень: зелень муравы
Привычную тропинку обрамляет,
Ведущую к дороге, из дворов.
Нехитрой песней стайка воробьёв
Меня на остановку провожает
(Мотивчик не идёт из головы).

Вот акварельный августовский свет
В облупленной коробочке трамвая
Частички взвеси пыльной золотит,
Вот самолёт над родиной летит
И пенный след на небе оставляет,
Мне из трамвая виден этот след —
Он словно время, словно первый снег,
Неумолимо тает.
Тает.

* * *

Тихое утро. Многоэтажный быт:
Над головою кто-то опять кричит,
Я умываюсь, сыплю в заварник чай
И умудряюсь криков не замечать.
Хлопают двери, слышен собачий лай,
Так многозвучен этот панельный рай.
Стенок бетонных тонкая скорлупа
Пахнет могилой и на тепло скупа.
Но в оправданье холода и пустот
На подоконник прыгает белый кот.
И не найдётся более точных слов —
Кот на окошке лучше любых цветов.

Малыгина Александра Сергеевна — родилась в 1987 году на Алтае, в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Филолог, преподаватель». Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Москва», «День и ночь», «Алтай» и др. Автор пяти книг стихотворений, среди них «Краугольный камень» (Барнаул, 2021) и «Темноводье» (М., 2021). Лауреат международной премии им. А.И. Казинцева (2023). Участник проекта Литературные резиденции АСПИР. Живёт в Барнауле.

В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

* * *

Я тебя разлюбила, когда ты сказал,
что слово *любовница* звучит красиво
(мне оно всегда казалось грязным,
похуже ругательства),
так ты стал прошлым, а я свободной
от твоих истерик, претензий и предрассудков.
Ты ещё долго приходил к моему дому,
особенно несчастным
ты казался себе под дождём.
О твоих визитах
меня предупреждали
слабые разряды электричества
в правом предсердии.
Хотелось кричать с балкона:
«Дяденька, перестаньте ломать комедию».
Но я ставила чайник на плиту
и ждала, когда окна наглухо запотеют.
Квартира становилась уютной,
будто не имела отношения к этому миру,
я заваривала ромашку,
доставала клубничное варенье
и читала коту дантовский «Ад».

* * *

Лежать в траве, смотреть на облака,
Внимать кузнечикам, дышать клубничным духом,
Друг другу клясться в дружбе на века,
Знать о войне из книжек и по слухам —
Так правильно.
Так правильной вдвойне,
Чем на тебя, отмеченного миной,
Смотреть в упор и думать о войне,
Как о болезни трудноизлечимой.

Бумагу беря карандашом,
Слова рубцами на офсетной шкуре —
Напишешь вдруг «живой и хорошо»,
И пожалеешь, что вообще не куришь.

* * *

Холодный ветер помнит паруса,
Порывистый, ежовой рукавицей
Проводит по зелёным волосам
Покрывшей берег тонкой полевицы.
Она дрожит и клонится к земле,
Но всем на зло растёт и колосится,

На гальке, на песке и на золе —
Дай хоть за что-то корнем зацепиться.
Всё для того, чтоб ветру вопреки,
Смертям назло, судьбе противореча,
Расти на берегу большой реки
И слушать как малиновки щебечут.

Ольга Замятина



Крем-брюле

Рассказ

1

Илюша мечтал о собаке. Всегда мечтал. Казалось, если случится невероятное и собака у него появится, всё в жизни изменится. Раз и навсегда. Будет такое счастье... Илюша даже представить себе не мог, как он переживёт его.

Но собаки не было. И он знал, что не будет. Каждый раз, когда Илюша просил маму, она вздыхала:

— Ты же знаешь. У нас с тобой две причины не брать собаку. Во-первых, твоя аллергия. А во-вторых, тебе пять лет, и ты не сможешь за ней сам ухаживать, например, гулять, а значит, придётся мне.

Аллергия у Илюши действительно была. Он даже в садик ходил со своей едой. Мама готовила для него пюре с котлетой или макароны с мясом, клала их в пластиковую коробочку и убирала утром в его рюкзак. Воспитатели знали, что кормить его можно только этим.

Илюша хорошо помнил, как расчёсывал от шоколада руки. И как после маленького кусочка жареной рыбы у него распухали губы. Он ими потом мог только шлёпать, как будто сам в рыбу превратился.

Но как аллергия могла быть на собаку, Илюша не понимал. Собака ведь не рыба. И она не из шоколада. А главное, он не собирался её есть. И как такое может кому-то в голову прийти?

С уходом за собакой Илюша тоже всё придумал. Гулять он мог под их окном, чтоб мама видела их, пока готовит ужин. Корм продавали в магазине у дома, пакет хоть и тяжёлый, но донести можно. Лапы собаке Илюша мыл бы в тазике, где одежду замачивают. В общем, осталось только маму уговорить. А она почему-то никак не уговаривалась. Поэтому Илюша разглядывал собак на улице. Он обожал их всех.

Как-то в книжном магазине им с бабушкой на глаза попала книга «Все породы собак». Там было столько цветных фотографий! Целых сто. А может, и тысяча. Илюша прижал книгу к себе и отказался отпускать. Бабушка молча заплатила за неё на кассе. А мама дома сказала, что читать про собак не станет, чтобы снова не слушать от сына: «Мама, купи».

Ольга Замятина (Кузнецова Ольга Александровна) родилась и живёт в Санкт-Петербурге. Кандидат физико-математических наук. Автор пяти книг. Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. имени Корнея Чуковского и Владислава Крапивина. Участница проектов АСПИР. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Илюша не расстроился, книга была красивая и толстая, все вечера после садика он листал страницы, гладил фотографии собак, разговаривал с ними. Но потом ему очень захотелось узнать, что там написано. Илюшу уже научили в садике читать по слогам.

Текста в книге было много, буквы мелкие, а слова сложные, но Илюша очень старался, и постепенно у него стало получаться. Одну за одной он прочитал все страницы: и описание пород, и о том, как ухаживать, лечить и дрессировать собак.

Однажды к Илюше в гости пришёл папа и повёл его в парк. Они шли по улице, и вдруг Илюша пробормотал что-то, увидев собаку.

— Что ты говоришь? — переспросил папа.

И сын повторил громко и чётко:

— Лабрадор-ретривер. Высота в холке: 54—57 сантиметров.

— Что? — папа даже остановился от неожиданности посреди тротуара. — Илюш, ты хоть знаешь, что такое холка?

Он не знал. Но почему-то думал, что это что-то вроде домика для собаки.

— Тебе бабушка это читала? — спросил папа. — Странно. Вроде не детская книжка!

— Я сам читал, — пожал плечами Илюша.

— Как это сам? — папа присел на корточки. — Ты же не умеешь.

— Умею, — вздохнул мальчик. — Научился.

Папа смотрел на него с недоумением:

— И что ещё ты знаешь про лабрадора?

Илюша обрадовался, ему давно хотелось с кем-то поделиться прочитанным, и он начал рассказывать:

— Лабрадоры могут быстро набирать вес за счёт неправильного питания. А это чревато заболеваниями сердца...

Он долго говорил, а папа (вот радость!) внимательно слушал. Только глаза у него от удивления становились всё больше и больше. С тех пор каждую прогулку Илюшка рассказывал папе что-то из любимой книжки. Что-то, чего папа не знал.

2

В тот день после садика Илюша с мамой зашли в магазин. Они часто в него заходили. Пока мама складывала в тележку макароны, мясо и сыр, Илюша играл в пирата. Он прятался за полками, пролезал в щель за холодильником с лимонадом, искал на кафельном полу клад. И иногда находил. Блестящую обёртку от жвачки или даже монетку.

На этот раз Илюше не везло: клад не находился, а одна из продавщиц, в мясном отделе, очень строго на него посмотрела, когда он нырнул под её прилавок.

Тогда Илюша вздохнул и пошёл к самой доброй в этом магазине тёте — кассирше Наташе. Она всегда улыбалась и угощала детей конфетами. По крайней мере, Илюше от неё почти каждый раз доставались сосульки, их ему можно.

Около Наташиной кассы стояла очередь. Илюша вздохнул, поняв, что поболтать им не удастся. Он обошёл кассу и глазам своим не поверил. У задней стенки, которую не видно покупателям, недалеко от ног Наташи на полу сидел маленький щенок. У него была шерсть цвета мороженого крем-брюле, чёрные блестящие глаза и толстые лапки.

Илюша замер от восторга. Он впервые видел такого малыша совсем рядом. Сердце его забилось громко-громко, заглушая магазинный шум.

Илюша присел на корточки, щенок не испугался, а только переступил с одной передней лапы на другую и смешно наклонил голову набок. «Точно не игрушечный», — понял Илюша и протянул руку. Щенок подошёл и уткнулся в его пальцы холодным мокрым носом. Илюша так и сел прямо на пол.

Кассирша Наташа повернулась к нему, когда покупатели разошлись.

— Ты смотри, — сказала она, — мама тебя ругать будет. И за то, что щенка гладишь, и за то, что на полу сидишь.

Илюша нахмурился и привстал на корточки. Грязные штаны маму действительно всегда расстраивали.

— Откуда он тут? — спросил Илюша тихо.

— Кто ж его знает, пришёл с улицы, замёрз, наверно, — Наташа протирала тряпочкой кассу.

— Бедный, — Илюша аккуратно дотронулся до щенка, шерсть оказалась мягкой, как помпон на зимней шапке. — А ночью как? Когда магазин закроют?

Наташа пожала плечами:

— Тут не разрешат оставить. Придётся на крыльцо выносить.

— Холодно же! — Илюша в ужасе на неё посмотрел, а потом снял с шеи шарф. — Положите ему там. Пожалуйста.

Наташа засмеялась:

— Да твоя мама...

Но Илюша её прервал:

— Я придумаю что-нибудь. Вы только положите его... ну, пожалуйста.

Щенок схватил шарф за ниточки, торчащие с краю, и сильно потянул на себя.

— Похоже, ему подарок понравился, — улыбнулась Наташа. — Что ж, оставляй. Надеюсь, у тебя дома найдётся ещё один.

Илюша кивнул. Он не отрываясь смотрел на щенка. Ничего лучше мальчик в своей жизни не видел. За эту собаку он отдал бы свои карманные деньги, недавно полученные от дедушки, книжку о породах, игровую приставку, кровать, стол, всю одежду, футбольный мяч. Илюша отдал бы всё. Если бы только было можно.

Он так замечтался, что не сразу услышал мамин голос:

— Опять где-то носится, — говорила мама Наташе. — Вы не видели?

— Пробегал пару раз, — не выдала Наташа. Илюша был ей благодарен.

— Ку-ку, — он потихоньку вылез из-за кассы.

— Вот ты где, — засмеялась мама. — Напугал. Смотри, я тебе яблочек взяла, нравятся?

Она потом ещё что-то говорила про покупки и про ужин, но Илюша не слушал, он думал о щенке. Как он, такой маленький, будет ночью на улице? Куда пойдёт? И увидятся ли они с ним снова?

Илюша застегнул куртку до самого горла, чтоб мама не заметила пропажу шарфа, и пошёл к выходу. В дверях он обернулся, надеясь ещё раз увидеть щенка, но ему это не удалось, а Наташа подмигнула, напоминая об их общей тайне.

«Жаль, я не знаю, как его зовут, — думал Илюша, шагая к дому. — С другой стороны, раз у него нет хозяина, имя ему дать было некому! Но разве можно жить без имени? Я придумаю. И скажу ему, когда снова встречу».

От этого Илюше стало веселее, и он понёсся к дому, перебирая в уме знакомые собачьи клички. Дружок? Рекс? Бим?

Хотелось найти имя, которого не было больше ни у кого. Сначала ничего не получалось. А потом, уже подходя к дому, Илюша представил себе щенка, и первым словом, которое пришло ему в голову, было... «чудо». Так бездомный щенок, сам того не зная, получил кличку. Чудо!

3

За шарф Илюше попало. «Совсем новый был, — расстроилась мама. — Не следишь ты за своими вещами!» Но это не самое страшное. Хуже другое: Илюше пришлось врать. А от этого у него в животе возникало такое же ощущение, как бывало, когда его укачивало в машине, — неприятно. «Обязательно потом всё маме расскажу, — решил Илюша. — Она поймёт». Из шкафа достали для него другой, нелюбимый колючий шарф. Пришлось терпеть.

В садике Илюша всё время улыбался своим мыслям. Хотя у него болел живот. Дело в том, что на завтрак он съел вместо одного йогурта три. Первый раз в жизни.

— Ну и аппетит у тебя, — сказала мама, увидев пустые баночки. — Придётся вечером за новыми йогуртами идти.

Илюша улыбнулся. Его план сработал, они снова пойдут в магазин.

На занятии по рисованию воспитательница подошла к Илюше.

— Какая у тебя чудесная собачка, — сказала она, заглянув в его альбом. — Это твоя?

— Моя знакомая, — улыбнулся Илюша и написал на рисунке крупными печатными буквами «СОБАКА ЧУДО».

«Как там щенок? — переживал он весь день. — Что ел? Где спал?»

Когда мама пришла за Илюшей, он в первую очередь напомнил ей про магазин.

— Да знаю я, — улыбнулась мама. — Неужели ты уже снова голодный? Похоже, надо тебя лучше кормить. Возьмём сегодня не три, а сразу шесть йогуртов.

«Ох, — расстроился Илюша, — и что теперь делать? Придётся как-то съесть шесть штук за раз!»

Но он тут же забыл обо всём, когда увидел здание магазина. «Как там Чудо?» — беспокоился Илюша и тянул маму за руку.

— Я сегодня быстро, — предупредила мама. — Мне только йогурты, сахар и помидоры. Так что через пять минут будь на кассе.

И Илюша помчался к Наташе. Она увидела его, улыбнулась и прошептала:

— Здесь он, здесь. Всё в порядке. Поспал ночью под крыльцом на твоём шарфике и снова вернулся. Я и шарф ему сюда принесла. Пусть считает его своим местом.

Илюшины глаза загорелись. Чудо крутился волчком, пытаясь поймать собственный хвост. Мальчик погладил его, щенок легонько ухватил Илюшу зубами за палец и потянул к себе.

— У него зубы режутся, — сказала Наташа. — Маленьким резиновые игрушки покупают, чтоб грызли.

И она повернулась к покупателям.

«Игрушки я принесу свои, — думал Илюша. — У меня есть тигрёнок, уточка и машинка. Но тигрёнка папа недавно подарил, мама может заметить. Возьму завтра уточку и машинку».

Чудо смешно рычал и охотился за Илюшиной рукой. Он догонял её, обхватывал двумя лапами и хватал зубами, трясая головой из стороны в сторону. Это было весело, хоть и немножко больно. Недавно мама водила Илюшу сдавать кровь, там было намного неприятнее.

На полу рядом со щенком лежало несколько кусочков сосиски, — видимо, добрая Наташа положила. Но Илюша расстроился: мама всегда ему говорит, что сосиски вредные. А тут их ел такой малыш...

И вдруг Илюша вспомнил, что у него в рюкзаке осталась половина большой

котлеты, которую мама давала ему с собой в садик. Вот чем надо кормить щенков! Он сдёрнул рюкзак на пол и услышал за кассой мамин голос:

— Мой-то растёт, Наташ, представляешь, три йогурта с утра навернул.

Илюша молниеносно вытащил миску, снял крышку и поставил угощение перед Чудом.

— Илюш, — громко позвала мама. И ему стало страшно, что сейчас она пойдёт его искать, найдёт и заберёт котлету. И грязный шарф, валяющийся рядом.

Щенок тем временем целиком залез в миску и с аппетитом шумно ел. Смотреть на него можно было вечно, но времени не было. Илюша кинул крышку в рюкзак, застегнул молнию и вылез из-за кассы.

«За миску попадёт, — подумал он. — Скажу, в саду оставил».

Илюша крепко обнял маму за ноги, как он всегда делал, когда ему было страшно. И неважно, что побаивался он сейчас именно маму.

4

— Мам, ну пойдём в магазин. Ну, пожалуйста, — упрасивал Илюша на следующий день. Но мама была не в настроении:

— Позавчера ты шарф потерял, вчера контейнер для еды. Лопаешь всё подряд, как с голодного острова. Что происходит?

Илюша молчал.

— Я тебе всё расскажу, — сказал он наконец. — Обещаю. Только пойдём в магазин.

Мама нахмурилась и пристально посмотрела на Илюшу.

— Значит, ты не просто так съел вчера три йогурта? — Мальчик покачал головой. — И полкило яблок доел не просто так? — Илюша вздохнул, мама закрыла глаза.

Через минуту она успокоилась и продолжила:

— И вещи, которые исчезают, тоже с этим связаны, да?

Илюша кивнул. Ему становилось легче. Ложь, из-за которой так тяжело было внутри живота все эти дни, вот-вот раскроется. Сейчас они пойдут в магазин, мама увидит и всё поймёт. Там же Чудо. Он не может не понравиться.

— Идём. И ты всё расскажешь, да? — мама заглянула Илюше в глаза.

Он кивнул:

— Я покажу.

Всегда дорога до магазина пролетала за разговорами с мамой незаметно, но в этот раз она показалась Илюше необыкновенно долгой. Сегодня мама хмурилась, а Илюша думал о том, как там Чудо, как отреагирует мама на щенка.

Он сжимал в кармане резинового тигрёнка. Это была одна из его любимых и самых новых игрушек, но он решил отдать Чуду именно её. Игрушка была твёрдой, и её было непросто сгрызть.

В магазине Илюша сразу повёл маму к кассе. Наташи не было, на её месте сидела другая кассирша, Люба. Она была не такой доброй, никогда не разговаривала с Илюшей, не угощала его. Увидев её, он испугался, но не за себя, а за щенка.

— Вот там, — показал рукой Илюша и повёл маму к задней стенке кассы.

— Извините, — прошептала мама, протискиваясь мимо кассирши в узкий проход.

— Ну, здравствуйте, — фыркнула Люба. — Вам туда нельзя вообще-то.

— Мы только на минуточку, — пообещала мама и ахнула. На полу лежал очень грязный Илюшин шарф и перевернутая миска из-под котлет.

— Это что? — прошептала мама, ничего не понимая.

Чуда за кассой не было.

Илюша начал всхлипывать, всё громче и громче, а потом разрыдался, пытаясь выговорить:

— Вчера. Был тут. Чудо.

Он уселся на пол, расправил шарф и положил на него тигрёнка. И тогда мама поняла:

— Собака?

— Щенок! — заплакал в голос Илюша. — Маленький. Чудо.

Мама присела рядом, крепко его обняла и стала гладить по голове.

— Не расстраивайся, — шептала она, — сейчас всё узнаем. Ну, не плачь.

— Слушайте, я тут работаю вообще-то, — проговорила недовольно Люба. — Вы там долго на полу сидеть будете?

— Простите, — мама подошла к ней. — Тут щенок был, не знаете, где он?

— А! И вы к нему, — кассирша покачала головой. — Ну вы даёте! То Наташка, теперь вы... Взрослые вроде люди. Возитесь с дворняжкой...

— Наташа хорошая, — проговорил Илюша сердито.

— Хорошая-хорошая, — кивнула Люба. — Её чуть не уволили сегодня из-за этой собаки. Она с утра в свой выходной день пришла, чтоб её в магазин запустить. Только наш хозяин щенка увидел. Ну и выкинул на улицу. И Наташку отругал. Это ж надо было придумать — бродячую собаку в магазин притащить!

— Понятно, — мама кивнула. — А куда он его... выкинул?

— За дверь швырк, и всё, — пожала плечами Люба.

Илюша снова заплакал. Он был уверен, что больше никогда не будет улыбаться. Зная, что бывают люди, которые могут Чудо... на улицу...

Он закрыл лицо руками, слёзы бежали. Отчего-то не солёные, а горькие на вкус.

Мама подняла его лицо:

— Плакать некогда, — сказала она строго. — Будем искать.

Он вытер глаза и кивнул, не веря, что мама не ругается, а готова помочь ему.

5

Они обошли вокруг магазина. Потом вокруг ближайшего дома. Заглядывали в подъезды. Дошли до другого магазина, надеясь, что Чудо отправился туда. Но его нигде не было.

Илюша звал громко, даже немного осип. Потом ему стала помогать мама. «Чудо! Чудо!» — кричали они то по очереди, то хором.

— Если встретите, зовите и меня, — пошутил какой-то мужчина в синей куртке. — Все мы ищем своё чудо.

Илюша с мамой вернулись на крыльцо магазина, разложили полиэтиленовый пакет и сели на верхнюю ступеньку. Обычно мама не позволяла так делать, говорила, что холодно и грязно, но сегодня всё было иначе.

Они сидели совсем близко, мама обнимала Илюшу за дрожащие плечи.

— Расскажи мне, какой он, — попросила она.

Илюша невольно улыбнулся:

— Самый красивый. Как мороженое крем-брюле. Совсем маленький. Хвостик у него длинный и лохматый. Лапы толстые. Животик розовый. А зубки...

Он запнулся. Раздался тихий шорох, и из-под крыльца, на котором сидели Илюша и мама, выбрался заспанный Чудо. Всё тот же. С хвостиком. Животиком.

И зубками. К его шерсти прилипли сухие листья, а невидимые коготки цокали по асфальту.

— Чудо! — закричал Илюша, бросился к нему навстречу и схватил на руки. — Чудо, Чудо, — повторял он и целовал щенка в морду.

— Грязный, — начала было мама, но потом махнула рукой. — Он и правда очень-очень милый. И имя ты ему дал подходящее.

С щенком на руках Илюша снова сел рядом с мамой, прижался к ней и закрыл глаза. Как же было хорошо вот так. С мамой. И с Чудом. Он думал, что скоро она скажет, что пора домой, напомним про аллергию и трудности ухода за собакой, и им придётся оставить Чудо тут. Но мама молчала. Чудо грыз пуговицу на Илюшиной куртке. А сам Илюша представлял, что это его, только его собака.

— Илюш, — позвала наконец мама, и он зажмурился, закрыл руками уши, пригнул голову почти к коленям, ощутив отчётливый, такой волшебный собачий запах.

— Ну, послушай, — мама опустила его руку и крепко сжала пальцы. — Я вот что хочу сказать. Кажется, мы можем взять его домой.

Илюша не сразу понял услышанное. Потом медленно выпрямился, повернулся к маме. Он рассматривал её широко открытыми глазами. Действительно ли она это сказала? Ему не послышалось?

— Я сегодня получила твои анализы, помнишь, ты кровь сдавал, — продолжала мама. — Оказалось, что у тебя нет аллергии на собак. Представляешь? — Илюша кивнул. — Коврик, ошейник и поводок нам папа купит. А с уходом, я думаю, ты справишься, — мама улыбнулась. — Я почему-то в этом даже уверена.

Илюша бы обнял маму крепко-крепко, но на руках у него был Чудо. И он только уткнулся лицом ей в грудь и снова заплакал, только теперь слёзы были очень сладкие на вкус! Как мороженое крем-брюле.

Возле магазина показался мужчина в синей куртке, тот, что недавно шутил.

— Ну, что? Нашли своё чудо? — спросил он весело.

— Да! — ответили Илюша и мама хором, а Чудо твякнул, защищая от чужого своих хозяев.

Юрий Каграманов

Между соперничеством и соработничеством

Что должен означать разворот к Азии

Разворачивающиеся военные действия обязывают как можно лучше определиться с расстановкой сил в мире. Обозначившееся противостояние не с отдельными западными странами, как это не раз бывало в прошлом, но с целокупным Западом вынуждает Россию обратиться за поддержкой к неевропейским странам, главным образом азиатским. Не пришел ли час для реализации изначального, вековой давности, евразийского проекта, требовавшего «раз и навсегда» повернуться спиной к Европе?

«Раз и навсегда» не получится: русские — европейцы по своей сущности, и если у кого-то возникают сомнения на сей счет, можно справиться у азиатов, они безошибочно укажут, кто мы есть. Евразийство явилось выводом из Русской революции, последовавшего за нею капитального опрощения и огрубения жизни. Отсюда его тяга к Великой степи с ее монотонными ветрами, унылыми видами перекасти-поле и представлением, что «жизнь не так дорога, как она кажется» (Андрей Платонов, стихийный евразиец, в повести «Джан»).

Один из четырех основоположников евразийства Г.В.Флоровский (еще светский мыслитель, не протоиерей), очень скоро от него отошедший, назвал его духовной неудачей, подвергнув основательной критике. Можно, наверное, сказать, что это, т.е. евразийство, было *игрой на понижение*, в смысле религиозно-культурном. Формально евразийцы оставляли православию подобающее ему место, но в реальности мы видим у них «спуск» в мироощущение народных масс с их тягой к стихийному язычеству. Символично было влечение к «низовой» (а другой и не существовало) культуре Великой степи, «месторазвитию» (в их терминологии), где никакого развития не было.

В наши дни термин «евразийство» чаще всего употребляется в практически-политическом и тактическом значении, против чего, конечно, не может быть возражений. Имеет смысл, однако, вернуть ему духовное значение, но при этом радикально поменять направление «запроса». Наша страна остро нуждается сейчас в *игре на повышение*, поэтому разворачиваться надо к *другой* Азии.

Есть в этой части света три «идеи-силы» — воспользуемся еще раз терминологией евразийцев. Это ислам, буддизм (и производный от него индуизм) и конфуцианство. Последнее содержит положительную этику, но в метафизическом отношении довольно убого и потому в *игре на повышение* участвовать не может. Буддизм — высокая религия, но он несет в себе отрицательный заряд, отчего даже в Индии круг его последователей остался ограниченным (индуизм есть полуудавшаяся попытка сочетать его с положительными началами). Другое дело ислам — одна из трех «авраамических» религий, близкородственная христианству.

Мир ислама должен стать нашим могущественным союзником в *духовном* противостоянии с Западом — противостоянии, которое почти наверное продлится еще неопределенно долго.

Наше внутреннее дело

Эта часть Азии интимным образом связана с Европой; как и ислам — с христианством. Г.К.Честертон, католик, даже считал, что «в сердце Азии он (ислам) как бы представляет душу Европы <...> И меньше всего он обязан Азии, древнему миру традиций (языческих и зачастую глубоко безнравственных. — Ю.К.), окаменевшего этикета (Китай? — Ю.К.) и бездонных, головоломных философий (Индия? — Ю.К.). Такой Азии он показался западным, угловатым, чужим, поистине, он пронзил ее, словно копье» (Г.К.Честертон. «Вечный человек». — М., 1991, с. 240).

Нелишне также привести мнение Арнольда Тойнби на сей счет: «Когда я говорю “западный мир”, я имею в виду не только христиан, но также иудеев и мусульман, потому что христианство и ислам суть производные от иудаизма» (Toynbee A. *Surviving the Future*. — London, 1971, p.5).

Вспору сказать о принципиальных схождениях и расхождениях между двумя великими религиями. Общее на догматическом уровне: принцип Откровения через избранных мужей, единобожие, схема движения времени от поэтапного сотворения мира и грехопадения к концу истории и Последнему Суду и так далее. Общий план мироздания — почти одинаков. Главное расхождение — в половинчатом, назовем его так, понимании фигуры Иисуса Христа: мусульмане хоть и признают бессеменное рождение Его от Девы Марии наитием Духа, но не считают Его Сыном Божиим, а всего лишь пророком, то есть только человеком, не способным выйти за рамки человечности, хотя бы и в высшем ее проявлении.

Нельзя поэтому избежать определенного противостояния между двумя религиями. Мы будто поднимаемся на одну и ту же гору, но христиане подбираются ближе к Богу, достигая головокружительной высоты, а мусульмане останавливаются — догматически, не обязательно эмоционально — на площадке пониже, но более «надежной» (это, разумеется, точка зрения христианина, с которой мусульманин может не согласиться).

Но велика и солидарность между авраамическими сродниками. Мы поклоняемся одному и тому же Богу, хотя понимаем Его несколько по-разному: для мусульман это Грозный Владыка, для христиан — Отец; но и любящий Отец бывает строг.

И в понимании фигуры Христа как «посредника» между Богом и человечеством есть определенная перекличка с христианством, что обнаруживается в его (христианства) колебаниях. Я имею в виду великий иконоборческий спор VIII—IX веков, в котором чаша весов попеременно склонялась то на одну, то на другую сторону. Иконоборцы (которых подпитывали такие еретические учения, как монофизитство и арианство) были в конечном счете осуждены Церковью, но нельзя отрицать, что в их утверждениях был серьезный резон. Они полагали, что пытаться изобразить священное, в первую очередь Христа и Богородицу, значит «запятнать» их прикосновениями к земному; ибо кисть художника и резец скульптора не способны изобразить неземное. (Любопытна точка зрения Оригена, одного из предшественников иконоборцев: он считал, что Христа невозможно изобразить уже потому, что у Него не было фиксированной внешности и Он менял ее в зависимости от того, в чье поле зрения попадал). Но таким образом открывалась и возможность представить Христа только человеком.

В истории авраамических вер иконоборчество не было каким-то изолированным явлением. Запрещение изображать священные предметы содержалось в Ветхом Завете и позже было повторено в пуританстве. Оно же было перенято исламом.

Иконопочитание стало прорывом в авраамической традиции. Небесное, оставаясь небесным, соединилось с земным в лице Христа, потустороннее соединилось с посюсторонним. Сын Бога «вошел» в человека, чтобы спасти его от греховной тяжести. Контакт высек искру, бросившую свет на века и тысячелетия вперед: «все мысли веков, все мечты, все миры» родились из этого света.

Отсюда яркая особенность «христианского материка» — расцвет и разрастание культуры, несравнимо с «исламским материком» и со всеми другими материками. Вера придавала христианам крылья и позволила земные обстоятельства воспринимать по-новому. Так, Крестовые походы явились высшим проявлением западно-христианской религиозности в ее героическом аспекте (мотивация тут была разная, и все-таки религиозный порыв был основным их двигателем). Но я хочу обратить внимание, что на гребне крестоносной волны возник культ прекрасной дамы, который занял центральное положение в европейской культуре и которому суждена была долгая жизнь — отголоски его слышны были и в XX веке.

Пушкин с его точным историческим чутьем писал о «благодетельном потрясении, произведенном Крестовыми походами» и что, в частности, источником европейской поэзии стали именно Крестовые походы и предшествовавшее им нашествие мавров (то есть вообще мусульман). Тема прекрасной дамы тонко нюансирована в его стихотворении «Рыцарь бедный». Рыцарь-крестоносец воспылал чувственной страстью к самой Богоматери: если смотреть сверху, это, конечно, грех, но если снизу, это предельная сублимация полового чувства.

Но о чем пели поэты на другой стороне — на «мусульманском материке»?

Время Крестовых походов — это также и время продолжающегося (начавшегося двумя столетиями ранее) культурного подъема в мусульманском мире, точнее, в некоторых его частях. Такого, какой больше никогда не был повторен. Хорошо известны имена ученых и философов, сочинения которых переводились тогда и в христианской Европе. Более всего впечатляет персидская поэзия того времени (XII—XIV века), точнее, поэзия на языке фарси, остающаяся одним из вершинных достижений мировой литературы. (К сожалению, за отсутствием переводов она оставалась почти неизвестной в России XIX века, так что К.Н.Леонтьев, равнодушный к Персии и прочивший ей великое будущее, сожалел о том, что у этой страны нет, как он считал, достойной литературы и даже называл Персию, по незнанию своему, *Grand muet* — Великим немым.) Она замечательна не только собственно поэтическими достоинствами, но и мировоззренческой широтой и глубиной (вообще же на Востоке философия весьма часто выражала себя в стихотворной форме).

В ранний период мусульманской истории и даже значительно позднее, скажем, в XII веке, а это уже время Крестовых походов, не было больших различий между двумя цивилизациями: христианской и мусульманской; хотя некоторое превосходство было на стороне мусульманской. Обе выросли на фундаменте античной цивилизации (захватив большую часть побережья Средиземного моря, мусульмане физически обосновались в ее ареале, и, как это нередко бывает, завоеванные оказали определенное влияние на завоевателей). Участник V Крестового похода Франциск Ассизский, встречаясь с мусульманскими учеными, обсуждал не только вопросы веры, но и судьбу античного искусства. И «куртуазия» была одинаково свойственна христианским и мусульманским рыцарям. Участник III похода Ричард Львиное Сердце и султан Саладин, встречаясь, понимали друг друга и, когда не схватывались в бою, поднимали друг за друга кубки. Так, по крайней мере, утверждают апокрифические источники.

Но дальше христианская и мусульманская цивилизации попали в дорожную «вилку» — пути их разошлись и расходились чем дальше, тем больше. В христианской стороне культура усложнялась и мало-помалу ускользала из-под «присмотра»

религии — одни за другими зажигались «тысячи огней невиданных цветов» (воспользуюсь строчкой из Аполлинера). А в мусульманском мире посуровавший ислам стопорил до некоторой степени аналогичные явления, но зато сохранял изначальную цельность мировоззрения.

Это обстоятельство побудило некоторых европейцев призадуматься. Одним из первых (если не первым) был Гёте, коль скоро он познакомился с более или менее качественными переводами персидских поэтов-классиков, появившимися в Европе в самом начале XIX века. В пространной поэме «Западно-восточный диван» он как бы вступает в Зэнгеркриг (Sängerkrieg — средневековое состязание менестрелей) с Хафизом, увлекая читателя на мусульманский Восток:

Там, наставленный Пророком,
Возвратись душой к истокам,
В мир, где ясным, мудрым слогом
Смертный вёл беседу с Богом.
.....
В мир, где предкам уваженье,
Где чужое — в небреженье,
Где просторно вере правой,
Тесно мудрости лукавой.

(Заметим, что сам Гёте, если позволено так сказать, — наполовину христианин, точнее, лютеранин, наполовину язычник аттического духа.)

Пушкин, хоть он и не мог читать персидских классиков, созвучен Гёте, например, в стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят». Развернутому под влиянием Запада Стамбулу он противопоставляет «Арзрум нагорный», жители которого блюдут строгий ислам, заявляя о себе с достоинством:

...Постимся мы. Струёю трезвой
Одни фонтаны нас поят.

Вольно поверхностному читателю усмотреть в этих стихах одну только иронию.

А что сегодня происходит на Западе с культурой, в не столь отдаленные времена вызывавшей на Востоке изумление и зависть? Сегодня она более всего приходится по нраву тем, кого Гераклит называл «наслаждающимися грязью». А ислам требует от своих приверженцев содержать в чистоте душу и тело, причем формулируемые требования зачастую выглядят гиперболически завышенными; особенно важным считается ограждать от нечистоты воображение, что в первую очередь относится к молодым женщинам. Легко представить, как должны воспринимать правоверные мусульмане продукцию западного масскульта, особенно последние ее трансформации. Исламский культ чистоты представляется чрезмерным не с одной только мирской позиции, но и с христианской. Но, может быть, клин клином вышибают?

Хамсин крепчает

Хамсин на Ближнем Востоке — знойный ветер, разносчик пыльных бурь, но в переносном смысле также разносчик джихада в обоих смыслах этого понятия: и усердия в делах веры, и борьбы с врагами ислама.

В последние десятилетия хамсин бушует, как это редко бывало в прошлом. То, что он приносит, это ваххабизм и все, что приближается к нему по характеру веры.

Это ожесточившийся, надрывный ислам, продолжающий, хотя и в несколько смягченном виде, «линию» известного богослова Ибн Таймийи, жившего в конце XIII — начале XIV века, и его продолжателя Аль Ваххаба, жившего в XVIII веке

Ирина Пивоварова

ОСЫ, СОВЫ И УЛИТКИ

«...Одна из функций поэзии — это функция машины времени, это надёжный механизм мгновенного перенесения нас в те места, в те времена и обстоятельства, в которых рождались стихи. Места, времена и обстоятельства со всеми их чувственными признаками — голосами, картинками, видами из окна, вкусом вина и печенья, многозначительными переглядываниями, запахами, особенно незабываемым запахом краски и растворителя, празднично и всегда дружелюбно встречавших тебя, когда ты переступал порог мастерской друга-художника. Сейчас, — предвкушает Лев Рубинштейн, — он покажет нам новые работы. Сейчас мы вытащим из своих сумок принесенные нами вино и закуски. Сейчас мы сядем за большой стол. Сейчас мы — такие красивые, остроумные и талантливые — посмотрим друг на друга, полюбуемся друг другом. Напротив меня сидит Ира Пивоварова, красивая, смеющаяся чьей-то удачной и уместной шутке. Она, кстати, обещала, что сегодня она почитает новые стихи. Сейчас она их прочтёт».

Сейчас мы читаем новые стихи Ирины Пивоваровой, написанные полвека назад, — никогда до этого не печатавшиеся. Это «взрослые стихи» писателя, хорошо известного, любимого поколениями советских и российских детей. И это — открытие нового поэта.

О том, почему это открытие происходит только теперь, о жизни, судьбе и стихах Ирины Пивоваровой рассказывает ее сын, писатель и художник Павел Пепперштейн.

Из цикла «Осенне-зимние картинки» (1979)

* * *

Река свободная текла
А я сидела и глядела
На реку как она текла
На длинное речное тело
В котором листья застревали
И небо серое дрожало
Которое моя река
Внутри самой себя держала

А листья плыли по воде
По небу вправо уплывали
А птицы плыли в высоте
И тоже вправо уплывали

Из цикла «Осы, совы и улитки» (1980—1983)

* * *

Проснитесь жёлуди лихие
В тугих шапчонках из трухи
Проснитесь баловни стихии
Сквозь воздух падая во мхи

Вцепитесь жизнью упругой
Вы в жизнь упругую мою
Хочу сестрой женой подругой
Войти в дремучую семью

Хочу навеки породниться
С могучей силою простой
Оглаживать лесные лица
Сама облитая листвою

Внимать холодными ночами
Потокам вод в корявых членах
Внимать дремучими очами
Лученье звёзд — небесных пленных

И желудёвыми речами
Встречать небесный танец вечный
И мир поддерживать плечами
Неверный нервный быстротечный

10.11.82

Коктебель

Зелёное высочество
Лазурное величество
И жёлтое количество
Подтреснутой земли

Смещение ветра сладкого
Смещение лета кроткого
Разряды электричества
Под кожей в крови

Ах в том да Коктебельчике
Как в сладкой колыбелечке
Резвились мы душечки
А были мы — мишень

И разгорался сладостный
Костёр порочный радостный
И до поры до времени
Горел весь божий день

Какое упоение
Лежать до одурения
В нежнейшем сене сладостном
Как в сладком-сладком сне

Ушли денёчки яркие
Ушли те ночки жаркие
И мыкаются бедные
В холодной стороне

Маслинный запах жёлтый
Откудова пришёл ты?
Откуда воплотился?
Висел и тут и там

Толпой гуляли маки
И чёрные собаки
В полынном жарком мраке
Ходили по пятам

И я была раскованна
И жизнь была рискованна
И я была красивая
И ты был лучше всех

И лишь потом узнали мы
Что изгнаны из рая мы
За энное количество
Невиннейших утех

Невинные обманщики
Мы милые обманчики
Так прятали в карманчики
Как винограда гроздь

И все мы были девочки
И все мы были мальчики
И разодрали пальчики
О старый ржавый гвоздь

Ах в том да Коктебельчике
Как в сладкой колыбелечке...
Да нет уже забыла я
А надо ль забывать?

О Боже мой как сладко
Ах Господи как больно
Как больно как не вольно
Всё это вспоминать

* * *

Зачем так торопиться
Зачем искать слова
Когда поёт синица
Она всегда права

Струятся тени веток
Бегут власы дерев
Собою повторяя
Знакомый нам напев

Плывёт под ветром древо
Подобьем корабля
Направо и налево
Лежит под ним земля

Вздыхает умирает
Зевает и живёт
Не много и не мало
Не месяц и не год

Растёт и славит Бога
В пространстве сентября
И пышно и убого
Качается земля

Из цикла «Жалобы в Ялте» (1983)

* * *

Где тонко там и рвётся
Не рвись душа моя
Ведь над тобой смеётся
Родимая семья

Три голубя в помойке
Две кошки на крыльце
И дерево берёза
В оранжевом венце

Три голубя в помойку
Зарылись с головой
Две кошки кверху пузом
На солнце разлеглись

А дерево берёза
В оранжевом венце
Стоит не шелохнётся
С улыбкой на лице

Раскинутые руки
Берёзы молодой
Текут как будто реки
С берёзовой водой

Стоит моя берёза
И руки подняла
Стоит не шелохнётся
С улыбкой на лице

Из цикла «Запах тумана» (ноябрь 1982 — май 1984)

* * *

Полоская тела в синеватой купели
Мы с тобою от радости песню запели
Как в опрелом апреле курлыкали трели
Как в раскатистом мае свирели звенели

Как в аллеях сверкал нам июнь-аметист
Как в июльском тумане расцвёл остролист
И как брат августейший всходил на престол
И сестра опускала на землю подол
Полный рыжиков красных и жёлтых маслят

И входила царица в одежде до пят
И поила настойкою горького корня
Обучала покорности — радости горней
И вела за собой в опустелый приют
Где уснувшие мысли под снегом живут

* * *

То не заснёшь, то не проснёшься
И что за жизнь такая?
Навзрыд рыдаешь и смеёшься
Страннее я не знаю

Верней, не знаю я другой
Такой же сумасбродной
В ней колобродит под дугой
Порядок мой безродный

За что тебе такая честь
Слова даны в награду?
За то что я всего лишь есть
А большего не надо

Но почему такой удел
Тебе, таковской, выпал?
Затем что мой отец сидел
В саду под старой липой

А матушка моя в ручье
Плескалась по колени
И плыли в солнечном луче
Кусочки мыльной пены

И были в небе облака
Как солнечная вата
Затем что я как пух легка
Как дёрн тяжеловата

Корява будто бы кора
И этим будто бы права
И будто виновата

* * *

Ты трава и я трава
Мы трава с тобой, дружок
Ты права и я права
Это очень хорошо

Ты трава и я трава
Вот и усики растут
Зеленеет голова
Руки там и ноги тут

Там и тут по сотне рук
Сотня в землю ног ушла
Ожила живая вдруг
Муравьиная метла

Славу солнцу мы поём
Муравея упоённо
Там где зреет окоём
Голубого водоёма

* * *

Валунов огорчённые чёрные лица
Шалунов, что готовы с воронами слиться
И седые деревья и небо из ситца
Что на поле слезами готово пролиться

И забор огороженный новым забором
И загон отороченный новым загоном
И убор запорошенный новым убором
И закон огорошенный новым законом

Всё, что было и будет под небом безлунным
Всё, что будет и было под облачным срезом
Назову я прекрасным, ужасным, безумным
Белым пухом леталым, усталым железом

Назову жгучим горем, калёной волною
Тёплым ласковым морем, морёной тоскою
Чтобы скрыться в словах, чтобы с воздухом слиться
Чтобы молнией чёткой в берёзу вонзиться

* * *

А что, куда мне торопиться
Когда меня никто не ждёт?
В блокноте белую страницу
Моя рука перевернёт

Строчи, строчи рука-царица!
И жизнь покажется легка
И пляшут строчки будто лица
Рука... река... пока... века...

Лети воздушный шар, томим
Налётом сна — воздушной коркой!
Лети воздушный нелюдим
Над земляной тяжёлой горкой

Над гарью памяти прогорклой
Над горкой выпуклой как слон
Политой горькою касторкой
Повитой хоботом времён

Ну да, скажите, вот ещё!
Зачем вы так? Ну, что вы, что вы!
Вот голова, а вот плечо
Коричневой лесной обновы

Нога ступает тяжело
Рука протянута неробко
Вода, уключина, весло
В воде вертящаяся пробка

* * *

О зраки яблоневых веток
Ветвей цветущие зрачки
И тень, и свет, и пересветок
И в листьях солнца пяточки

И дышат чёрные собаки
Такой полуночною мглой
И новый день встаёт во мраке
И колет солнечной иглой

15.05.84

* * *

Ну просто не знаю я как и сказать!
Ну просто не чаю я как и взлететь!
А как хорошо бы лететь твою мать
И в дудочку дырчатой травки свистеть

Летишь и свистишь себе щёки надув
Как будто бы ангел в небесной тиши
В купели пресветлой жуир-стеклодув
Нанижет вам бусинок светлой души

Из капелек пота построено зданье
Куда одуванчик сбирается жить
Скорее летите сюда на собранье
Мы будем лесок паутиною шить

Залатывать стебли дырявые воском
Плескаться пчелиною лаской листа
И слышать жужжание лопасти плоской
Где всё маята суета чернота

26.05.83

Из цикла «Эти вепри» (летне-осенний цикл 1983)

* * *

в небесном платье
мама ходит
небесны нитки
мама ткёт
небесны сны
на нас наводит
небесны песенки поёт

невестки мамины небесны
небесны мамины зятя
в небесные садятся креслы —
узор небесного шитья

а тут кусты всё да крапива
ТУ сто четыре вдаль ревёт
болтает всякое ретиво
обеззабоченный народ

гуляет праздно вдоль обочин
где стынет светлая вода
где дым ветрами укорочен
где воздух солнцем оторочен
где всё всегда и никогда

Из цикла «Вороний парк» (июнь — октябрь 1983)

* * *

Кругами пруд описывает полдень
Пруда вокруг растут и тень и свет
Там рыбы плавают в неясный этот полдень
Тут парочка лежит. Дурман и бред.

Любовное томленье, нега, похоть
Цветы раскрыли розовые рты
Кусты готовы в испуг охаты
Деревья томно никнут с высоты

Трава вздымается соитию навстречу
Качается любовью пьяна
Зелёные роняет части речи
Восторженно на жалкий, человеческий
Союз великий и безликий — он... она...

Она худа, бледна и в белом платье
Он в галстук синее всех небес
Они друг другу долг любовный платят
Она сама Юнона, он — Зевес

Берёза зоркая в тени склонилась криво
Зелёные глаза на ветках шелестят
Качает головой лукавая крапива
Дурмана стебли сладкий яд точат

И новое содружество в любовной
Посудине земли плывёт вперёд
И новое супружество огромный
И вечный мир в объятия берёт

И небо посылает капли рьяно
Вверху сбежались тучи — Боже мой!
Она аптекарша, шофёр он, оба пьяны
И лопухи у ней под головой

* * *

Сгорело пастбище и выжжена любовь
И стонут обгоревшие овечки
И вдруг — о Боже! вдруг — о чудо! вновь
Каштаны важно тянут к небу свечки

Благоухают лютики и кашка
Переливаются в моём глухом краю
Над ними бриллиантовая пташка
И снова я живу дышу пою
Под кустиком живучая букашка

Из цикла «Последние стихи» (1986)

* * *

Тихонько постучался жёлтым клювом
в моё окно апрель
и расцвела подснежником постель
где я валялась как в сугробах снега
в подушках и в горбатых простынях
и заструилось жёлтенькое солнце
в пространстве рыжей комнаты моей
и в ней пыльца седая заплясала
и пальцы стула
и щека стола
и ухо твёрдое коричневого шкафа
всё слушало, всё пению внимало
апрельской сонной птицы золотой
а там внизу, в окне, в калейдоскопе
мешались стёклышки
рассыпчато звеня
и тренькало отрывочно и остро:

опять
опять
опять
опять
опять

Павел Пенперштейн

Стихи и рисунки Иры Пивоваровой, моей мамы

Моя мама обладала необычайным свойством внушать самым разным людям, с которыми она соприкасалась, восторженное и как бы несколько опьяненное состояние, напоминающее влюбленность. Совершенно непохожие друг на друга мужчины, женщины, дети, юные девушки, художники и художницы, интеллектуалы, поэты, богемные модники и модницы, почтальоны, продавщицы, парикмахерши, врачи, гимнастки, пионерки, диссиденты, священники, философы, официантки, змееловы и старухи (от ветхих светских львиц до деревенских балагурш) поддавались этому магическому эффекту. Эти всплески обожания иногда радовали маму, а иногда утомляли или смущали. Далеко не всегда она могла ответить взаимностью на эти потоки и фейерверки (а порою тайные укромные огни) неконтролируемых эмоций. Испытывала ли она в отношении самой себя те же восторженные и влюбленные чувства? Иногда да, иногда нет. Мама была человеком сомнения, она сомневалась во всем: в себе, в других и в том мире, где все мы блуждаем. Радостная раскованность, феерическое остроумие и игривость мысли могли резко смениться острой застенчивостью или печалью.

Детская скромность сочеталась в ней с царственными повадками, которые порою превратно истолковывались окружающими как проявления андерштеймта или ресентимента. Крайняя доброта, участливость и отзывчивость в отношении самых различных личностей сочетались с насмешливостью, с мягкой (а случалось, что и не вполне мягкой) иронией и даже откровенно хулиганскими (в речевом плане) формами поведения. Моя мама была остра на язык, но это острословие чаще всего бывало совершенно спонтанным и заставляло врасплох ее саму. Многочисленные остроумные замечания и бонмо, ненароком слетавшие с ее уст, подхватывались и затем циркулировали в кругах московской богемы, а иногда и далеко за пределами этих кругов. В частности, мама считала себя автором таких крылатых фраз как «бешенство правды-матки» или «муж объелся груш».

Ощущение собственной гениальности ее то посещало, то покидало. Но, независимо от присутствия или отсутствия данного ощущения, она никогда не придавала ему особого значения. Ей не приходило в голову выстраивать свой жизненный путь по матрице «жизнь гения», хотя многие из тех, с кем она близко или эпизодически дружила, в высшей степени поддавались искушениям такого рода. Сталкиваясь с напыщенными персонами, убежденными в собственной насыщенной значимости, мама могла искренне восхищаться этими людьми и все же, вполне произвольно, проронить какое-нибудь насмешливое или озорное замечание, которое ей самой казалось всецело безобидным, но далеко не все готовы были разделить это мнение. Существует легенда, что, знакомясь с Иосифом Бродским, мама произнесла: «Счастлива познакомиться со знаменитым Бутербродским». Мне неизвестно, как отреагировал

будущий нобелевский лауреат на такое фривольное приветствие, но друзьями они не стали.

В юности мама дружила с Корнеем Чуковским и удостоилась его благословения в качестве начинающего детского поэта. Тип юмора у них был схожий. Я бы назвал этот юмор английско-еврейским (сочетание нонсенса и тайной меланхолии). Корней Иванович (он же Николай Корнейчуков) не был ни евреем, ни британцем, но он вырос в Одессе, а его britishness относится к разряду явлений, которое Гёте называл избирательным средством.

Мои родители подружились с Чуковским еще будучи очень молодыми. Мой папа¹ сделал иллюстрации к книжке Чуковского «Тараканище», и эти иллюстрации Корнею Ивановичу очень понравились. После этого мои родители периодически навещали престарелого классика в его переделкинском доме, а через некоторое время Чуковский попросил папу проиллюстрировать книгу «Мой Уитмен». Папа сделал превосходные иллюстрации к этой книге (отчасти в духе американского графика Рокуэлла Кента, очень модного в те годы). На нескольких иллюстрациях он нарисовал маму. Мои родители были сильно влюблены друг в друга тогда. Чуковский называл их «господин Пивоваров и госпожа Пивовариха». В моем архиве сохранились подаренные Чуковским книжки с соответствующей надписью «г-ну Пивоварову и г-же Пивоварихе». Следует вспомнить квакающий саркастический голосок высокорослого классика, чтобы мысленно озвучить это шутовское обращение, — голосок, известный всей советской детворе в те времена, когда детвора еще была советской.

Эти визиты к Чуковскому имеют особое значение не только лишь как форма инициации, не только лишь как transmission, не только лишь как благословение, переходящее от старшего поэта к младшему, но и потому, что это были первые попадания в Переделкино, в место, которому предстояло сыграть огромную роль в маминой жизни и в ее поэтическом творчестве. Осознавая значимость этого момента, я позволю себе привести большую цитату из маминого автобиографического романа «Круглое окно»:

И вот я вдруг вспоминаю, что в такой же жаркий июньско-августовский день мы приехали с Витенькой Пивоваровым в такую же жаркую зеленую сень и сели на похожей лавочке возле дачного большого дома, двухэтажного и желтого, мы сидели и ждали, когда проснется хозяин дома, Корней Иванович Чуковский, известный в нашей стране всем и каждому. Нам сказали: вы подождите, Корней Иванович спит. И вдруг в доме заплакал какой-то ребенок. И мы с Виткой сказали друг другу: Корней Иванович проснулся. Мы слегка робели. Витя вез в папке иллюстрации к «Тараканищу» — мы боялись, а вдруг не понравится? И вдруг нам говорят: он проснулся. Идите в дом. Он вас ждет. И мы пошли вверх по деревянной лестнице, мы прошли через комнату, заставленную множеством книг и игрушек, и вышли на открытую террасу, где под ветром тоненько побрякивал висящий на веревочке серебряный колокольчик. Он сказал нам: «Ну, показывайте». Очень высокий, интеллигентный старик. И лицо умное, без маразма. И нос крупный, и седая челка, и длинные прямые ноги, и язвительная речь, и отсутствие чая и какого бы то ни было угощения. Иллюстрации ему понравились. Мне он сказал: «А кто вы по профессии?» — «Художник-модельер», — смутилась я. «То-то и видно», — сказал он, выразительно взглянув на мои пляжные резиновые вьетнамские босоножки, состоявшие из одной резиновой подошвы и перекинутой через большой палец петли. Дело в том, что по дороге, выйдя из дому, я сломала каблук своей лакированной малиновой босоножки, а другой летней обуви у меня не было. И пришлось ехать к Великому Мастеру в пляжных тапках. «Сапожник без сапог», — сказал он. Он звал меня «госпожа Пивовариха». «Пивоваров, а где твоя Пивовариха?» Он читал нам Вагинова и других обэриутов. Он мне страшно понравился.

¹ Художник Виктор Пивоваров. — Прим. ред.

Это был первый глубоко интеллигентный человек среди писателей, которого я встретила. До тех пор мне такие не попадались. Мне приятна была его умная едкость: ироничных и острых людей среди писателей тоже не так-то много. А вокруг был огромный лесной участок, и на нем росли земляника и грибы. Я поглядела на фотографию молодого мужчины в комнате. «Какой у вас симпатичный сын, как на вас похож». — «Неужели? — притворно сердито удивился он. — Это сын моего дворника». Тоненько позвякивал колокольчик. Мы были такие молодые тогда с Витей. И мы ему тоже понравились. Уже со второй встречи он перестал быть язвительным и ироничным, и беседовать с ним было одно удовольствие. Я подарила ему мою единственную книжку «Тихое и звонкое» и написала на ней: «Хорошему учителю от плохой ученицы», — хотя на самом деле вовсе не считала его учителем, а себя плохой ученицей. Когда сгорела потом детская библиотека Чуковского, вся состоявшая из книг, подаренных Чуковским и Чуковскому, я долго искала на мокрой обгорелой земле, усеянной лужами, пропахшей отвратительной гарью, свою книжку. Я подобрала кучи дарственных обгорелых книг, но своей не нашла. Собственно, я не помню ни одного слова из наших разговоров, кроме того момента, когда он читал нам стихи Вагинова и Олейникова.

*Гладкая кожа.
Ест не спеша...
Боже мой, Боже,
Как хороша!*

Он прочел характерно по-чуковски, с каким-то причмокиванием, приквакиванием, стихи Олейникова. Он рассказал нам о расстрелянном Вагинове. От него осталось ощущение добротного человеческого существа, очень полноценного и насыщенного жизнью — ему было 65 лет, это было незадолго до его смерти. Он так мне понравился, что, вспоминая сейчас его, я не могу сказать почти ничего, кроме того, что он мне понравился, — это был мой родственник, мой глубокий родственник. Он попросил Витю нарисовать ему Уитмена в его переводах. До этого Уитмена ему иллюстрировал, кажется, Збарский. От Витиново Уитмена он пришел в восторг. Он написал нам письмо — маленькое историческое письмо, — которое мы, видимо, должны были хранить как святыню, но мы его потеряли.

Выходя из его дома, рассерженные тем, что он неизменно не предлагал нам поест, ни даже выпить чаю, мы нахально по-детски садились у его ворот, вынимали бутерброды и демонстративно принимались есть. Нахально мы ели и смеялись.

Потом он помер, а как жалко, господи! Такой экземпляр, какой прекрасный человеческий индивидуум!

Абсурдистско-псевдоснобская квазибританская шуточка о сыне дворника и разговор об обэриутах, упоминание о Вагинове, запомнившиеся строчки из стихотворения Олейникова, прочитанные Корнеем Ивановичем вслух, — все это кажется совершенно неслучайным.

С обэриутами маму многое объединяет. Можно сказать, что в своей взрослой поэзии она могла считаться продолжателем обэриутов и постобэриутовской поэтической линии. С Хармсом ее роднит — раздвоенность на детскую (печатную) и на взрослую (непечатную в советском контексте) поэзию. Но самым близким и любимым поэтом для мамы всегда оставался другой обэриут — Николай Заболоцкий.

Тридцать шесть лет прошло с того мрачного августа 1986 года, когда моя мама в возрасте сорока семи лет покинула земной мир. За это время ее детские книги (как поэтические, так и прозаические) переиздавались и продолжают переиздаваться, они давно стали классикой русскоязычной литературы для детей. Эти книги переводят на разные языки, издают в отдаленных государствах. На ее стихи пишут песни, снимают мультфильмы, на основе ее детских текстов ставят театральные спектакли. С ранней юности и до последних недель своей жизни мама писала взрослые стихи и это дело

Мария Бушуева

Сёстры в зеркалах времени

Удвоение оптики

Сёстры тяжесть и нежность...

Осип Манделштам

Дружба или соперничество? Любовь или ревность? Счастье или трагедия? Сразу приходят на память классические образы — пушкинские Татьяна и Ольга, Вера и Марфенька у Гончарова в «Обрыве», сёстры Беннет из «Гордости и предубеждения» Джейн Остин... Тема взаимоотношений героинь-сестёр в русской прозе прошедшего и нового века не вписывается в координаты только психологические, требуя дополнительного измерения: времени, завися от него — и позволяя писателю проявить его глубинную суть и разломы. Тема необъятная, и порой возникают неожиданные пересечения и отражения.

Прости меня...

«Сёстры» Рюрика Ивнева (журнал «Нижний Новгород» №6 (47) / 2022) — повесть с подзаголовком «Из дневника», созданная незадолго до Октября 1917 года, ждала публикации в архиве писателя более ста лет. Героини — юные сёстры Ася и Лёля — заморожены отсветами Серебряного века, и личную драму старшей автор объясняет словами одного из мелькнувших персонажей: «Мы дети века — нервные, больные». Действительно, от «интерьера эпохи» зависит очень многое. В первые годы XX века еще сохранялись и даже считались признаками благородной тонкости природы некоторые реакции, относимые к истерическим: дева из «приличного общества» могла «упасть без чувств», а мужчина из-за неразделённой любви или проступка, бросающего тень на его честь, способен был застрелиться. Такие реакции — не только набор социальных стереотипов, в них — личный жест и этический эталон среды, модель поведения. Застрелился герой повести Рюрика Ивнева Вадим Панкратов, служивший «в Энске, в канцелярии губернатора», метивший в вице-губернаторы. В наши дни если чиновник и сводит счёты с жизнью, то из-за грозящего судом коррупционного скандала или вследствие смещения с престижной должности. Вадим застрелился от разбитых надежд на личное счастье и — позора: юная жена сбежала от него в первую же брачную ночь. Причина побега — мелодраматическая. В пору жениховства он казался Асе (так, по-тургеневски, в семье звали только что окончившую учёбу в институте Анну, старшую сестру Лёли) «оригиналом, фантазёром, немного поэтом, мягким и нежным», но сразу после венчания Вадим потерял её, оттолкнув порывом своей «звериной»

страсти». На первый взгляд, коллизия ясна и вполне вписывается в «институтско»-сентиментальную: девушка жаждет счастья: «Я с трепетом, с приятным волнением ждала “новой жизни”. Я ожидала чего-то высокого, почти божественного, что вознесло бы меня на недостижимую высоту. Я ждала новых откровений, новых возможностей. Мне казалось, что жизнь, которая меня ожидает, будет яркой, как солнце, что меня ожидает счастье настоящее, полное. Были, правда, какие-то неясные предчувствия...» Мечты разбиваются об отсутствие чуткости в избраннике. Он её любит, но инстинкт в нём сильнее желания понять и постараться бережно сохранить внутренний мир неопытной девушки, только выпорхнувшей из-под материнской опеки, дать её романтическим иллюзиям постепенно смениться зрелым чувством. Однако с коллизией не всё так однозначно. Пытаясь понять, почему вместо счастья случилась трагедия, Ася, выздоравливающая после долгой болезни — результата пережитого стресса, делает вывод, что всё началось с того вечера, когда, вернувшись с берега, где гуляла с Вадимом, она застала на своей кровати младшую сестру и та, «рыдая и прося не отталкивать её», призналась в своей «страстной, лихорадочной любви» к ней. Эта сцена — переломная для сюжета и определяющая его завершение. Старшая сестра вспоминает: «Лёля в слезах произнесла: “— Прости меня, Ася! Я, кажется, напугала тебя”, — и, спрятав свою голову в моих руках, начала тихо всхлипывать, потом приблизив свои губы к моему лицу, начала горячо и сильно меня целовать». На расспросы она отвечала, что пришла проститься, «так как я выйду замуж и буду для неё потеряна. Её всхлипывания переходили в рыдания. Плечи её тряслись, руки цеплялись за моё платье, и вся она была в эту минуту жалкой и маленькой...» Рыдания экзальтированной Лёли переросли в истерический припадок: «Она лежала без чувств». После этого случая Ася призналась себе: «У меня не хватает сил сказать ей что-нибудь грубо или нахмуриться. Почему-то мне её жаль до боли». До этого Лёля казалась Асе «несносной, “подсматривающей” сестрицей», постоянно досаждающей своей слежкой за каждым шагом, и вызывала раздражение. Лёле хотелось познакомиться с «загадочным» господином, который всё время бывает с её сестрой, она мучительно ревновала Асю к её жениху и не могла этого скрыть: она «страшно разозлилась», — делится Ася, — «постаралась, пока я стояла около мамы, своим зонтиком испачкать мои новые ботинки. Но я была равнодушна к её “гневу”. Мне в эту минуту было не до неё». И лишь когда Вадим погибает, младшая сестра признаётся: «В то время, когда ты гуляла у моря со своим Вадимом, я лежала на кровати в своей комнате, одинокая, никому не нужная и плакала тихо, сдавленно, чтобы никто не услышал. Иногда я от злости рвала свои волосы и кусала губы! Боже мой! Если бы ты видела меня, милая Ася, в одну из таких минут, ты, должно быть, пожалела бы меня!» Характеры юных сестёр обрисованы почти тургеневским легким пером. В день перед свадьбой происходит еще одна сцена, о которой Ася так рассказывает в дневнике: «Глаза её смотрели в мою душу с невыразимой скорбью, грудь вздрагивала от душевных её рыданий. Губы, алые, запёкшиеся, тянулись к моим губам с мучительным трепетом. Она целовала меня, отрываясь для того, чтобы шепнуть:

— Не забудь. — И снова целовала меня».

После самоубийства Вадима все осуждают Асю. Все — кроме Лёли. Она — полна ликования, что сестра снова с ней. Нужно отметить, что особо модный в декадентскую эпоху любовный треугольник в повести фактически отсутствует, отношение Лёли к жениху Аси никакого развития не получает. Героини похожи на гимназисток Лидии Чарской, впечатленных творчеством её тёзки — Лидии Зиновьевой-Аннибал, повесть которой «Тридцать три урода», вызвавшая яростные споры, была опубликована в 1907 году. В неприятии Асей влечения Вадима можно, при желании, найти черты феминизма с его восприятием мужчины как агрессора и требованием признания деликатных особенностей женского эротизма. Мне кажется, стоит посмотреть шире — поразмышлять, чего в страсти младшей сестры больше: эгоистического страха перед

замаячившим одиночеством, неподвластной рассудку полудетской ревности, не осознаваемой зависти к будущему счастью сестры, спрятанной в тёмной глубине психологического зазеркалья, или всё-таки подлинной любви? И, конечно, хотя такие сестринские любовно-театральные драмы имеют под собой жизненные корни, всё же стебли и цветы этих «нервных больных» растений вполне литературны.

В спальню вошла я; она уж спала.
Месяц ей кудри осыпал лучами.
Я не могла устоять — подошла
И, наклонясь, к ней прильнула устами.

Скорее всего, Рюрик Ивнев знал стихотворение Афанасия Фета «Сёстры», но даже если не знал, сам факт сюжетного сходства говорит о выходе литературных поведенческих моделей за пределы текста и последующем возвращении на территорию слова.

Чтобы понять истоки любви-ревности Лёли, стоит вспомнить ещё и «Сказку матери» Марины Цветаевой. Две сестры, две маленькие девочки из «непрожитых лет» допытываются у матери, которую из них она больше любит. И младшая, опять же с тургеневским именем Ася, выдаёт свою ревность, придумав сказку про собственную счастливую взрослую жизнь и нищую «собачью» жизнь старшей сестры Марины: «...младшая потом ещё вышла замуж за князя и за графа, и у неё было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик — одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая — в это время — так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип её из богадельни выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в жёлтую собаку, и вот раз младшая едет в ландо и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и — она была очень, очень добрая! — ее пожалела: “Садись, собачка, в экипаж!”, а та (с ненавистным на меня взглядом) — сразу влезла — и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у неё глаза не собачьи, а такие гадкие, зелёные, старые, особенные — и вдруг узнала, что это её старшая, старая сестра, и разом выкинула её из экипажа — и та разбилась на четыре части вдребезги!»

Возможно, этот сюжет, полностью не опровергнутый матерью лишь по рассеянности, глубоко запал в подсознание Марины Цветаевой, невольно, исподволь разрушая защитные силы её духа. В бедствиях и нищете Марины, конечно, нет никакой вины её сестры. Любовь и ревность часто оказываются сильнее человека, тем более, если этот человек — ребёнок или только вступает во взрослую жизнь, как Лёля... И в «Повести о Сонечке», которая свободнее по дыханию многих стихов, закованных в заданную форму, наверное, пролились водопадом все чувства, таимые с детства.

Невыносимо полная любовь

Проза Марины Цветаевой неожиданно дала психологический ключ к трактовке романа Рады Полищук, названного «Роман-мираж, или Сёстры» (первая публикация — 2002 год, издательство «Текст», юбилейная — журнал «Наша улица», №278, 2023). «Роман-мираж» созвучен «Сёстрам» Рюрика Ивнева. Но более сложный психологический рисунок подвигает сравнить его с цветаевской «Повестью о Сонечке». В мои задачи не входит анализ всех параметров двух текстов, во многом не схожих, а также акцентирование отличий авторских судеб — они на поверхности, корневые и культурологические. И, конечно, значительны различия двух эпох: революционной начала XX века и советской и первых лет постсоветской. Романтизация и театрализация в «Повести о Сонечке» вряд ли резонируют с революционным энтузиазмом части

общества, как иногда считается. Цветаева уже по рождению и, как сказали бы сейчас, социальному статусу относилась к «проигравшим», скорее, здесь, в отличие от романтического флёра повести Рюрика Ивнева, романтизм — авторская самозащита, уход в возвышенность от всех трудностей, от безрадостности перспектив, интуитивно предугадываемых. «Россия Блока» тонула и шла на дно «как обломки и жестянки консервов», по выражению Маяковского, и культ красоты в «Повести о Сонечке» — конвульсивное стремление если не спасти уходящее, так хотя бы удержать его тень. Любовь к Сонечке Голлидэй для Цветаевой в эпоху горечи становится «белым целым куском сахара»; сравнение себя с шекспировской Корделией — предвидение грядущих испытаний. Любовь — последний спасательный круг, брошенный тонущей эпохе, и главное действующее лицо повести. Сонечка Голлидэй — в определённом смысле попала в режиссерский плен Цветаевой, оттого монологи юной актрисы так театральны. На заднем плане остаются Сонечкина душевность, её нежная привязанность к младшей дочери Цветаевой Ирине, её сердечная, почти материнская забота о девочке. Замечу вскользь, что Сонечкин уход мог иметь и не осознаваемую Цветаевой причину: Голлидэй узнала о смерти Ирины и не могла переступить порог дома, в котором больше не было милого ей ребёнка. В повести причина иная: Сонечка убегает «в свою женскую судьбу». «Ей неизбежно было от меня оторваться, — исповедуется Марина Цветаева, — с мясом души, её и моей». Что ж, примем авторское объяснение.

Асе в повести Рюрика Ивнева оторваться от сестринской любви не удалось. Не удастся это и Тине в романе Рады Полищук. Любовь — главное действующее лицо «Романа-миража», — «роковая невозможность жить друг без друга» двух родных сестёр, очень похожих на повзрослевших Асю и Лёлю. Здесь иное время: смутное ощущение тонущей советской эпохи — подспудно становятся миражом все устоявшиеся жизненные ценности, — тот фон, на котором опять же единственной смыслообразующей защитой выступает душевная близость с сестрой. Прототип Тины столь же реален, как Сонечка Голлидэй: это сестра Рады Полищук, недавно ушедшая Виктория Полищук (1943—2022), художница, автор цветочных натюрмортов и книжки стихов¹. В романе сильна идеализация красоты как величайшей жизненной ценности: Сонечка — «инфанта», Тина — «королева». Лейтмотив «Романа-миража» — неразделимость двух сестёр, невозможность младшей «не дышать с Тиной одними лёгкими, не видеть мир и себя в нем её глазами, не навязывать ей своё, пусть и молчаливое соучастие во всём...» и как следствие — риск «задохнуться от пароксизма безумной сестринской любви». За любовью прячется у младшей сестры страх покинутости: «...Значит, ей не до меня. Какое счастье! И какое горе — я одна в своем одиночестве, у меня нет Тины». Эти её слова повторяют признания Лёли из «Сестёр» Рюрика Ивнева. Непереносимая мука одиночества и в «Повести о Сонечке»: «...лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества...» (Обратим внимание на определение одиночества и сравним с детскими фантазиями из «Сказки матери».) Витально опасное пустое пространство требует заполнения.

На первый взгляд, мужчина и в повести Цветаевой, и в романе Полищук — всегда третий, не столь важный персонаж. Но это обманчивое впечатление: отнять любовь к женщине эту женщину у мужчины по сути означает сохранить его, если не для себя, то от неё. В основе мастерски показанной геометрии отношений — треугольник, а в его основании — ревность. В «Романе-мираже» об этом сказано со всей откровенностью: «Я ревновала Тину к Костику, я рвала и метала, видя, как он уводит её от меня, но всё же слегка к этой ревности примешивалось и обратное: я ревновала также и Костика к Тине — почему, ну, почему не на меня он смотрит так нежно, так властно?» В «Повести о Сонечке» разрушаются отношения Сонечки с мужчинами и нивелируется

¹ Виктория Полищук. Мир иной открылся мне: Стихи. — М.: Союз писателей Москвы, 2014. — 32 с. Библиотечка поэзии.

Бердыгулы Амансахатов

Аксакал туркменской живописи

К 100-летию со дня рождения Иззата Клычева

Иzzат Клычев — и в жизни, и в творчестве — был настоящим аксакалом. Туркмены в это понятие включают мудрость, степенность, достоинство. Он никогда не спешил, не суетился. Он был немногословен, но от этого сказанное им только обретало дополнительную весомость. Даже когда горячился, умел оседлать свои чувства, видимо, сберегая их для искусства.

Мне крупно повезло — долгое время наши мастерские находились в одном здании республиканского худфонда, и нам приходилось часто общаться. Наблюдать вблизи великого мастера, впитывать исходящий от него свет щедрой души — это дорогого стоит. Сегодня вспоминаю эти встречи как золотой фонд собственного жизненного опыта.

Новаторство Иззата Клычева составляет блестящую страницу советской художественной культуры. Хрустальное отражение слияний народного творчества (изобразительного фольклора) с восточной миниатюрой и «суровым стилем» соцреализма XX столетия в работах художника было поистине уникальным. Прелесть творчества Клычева заключалась не только в тончайшем рисунке, многокрасочности и яркой насыщенности колорита, в выразительности образов, в изысканной простоте и чёткости изображений, но и в радости созидания, уважении к красоте и доброте, ощущении человеческого достоинства. Глядя на работу мастера, чуткий зритель чувствует, что художник получал истинное удовольствие от творческого процесса.

Только со временем я понял, насколько его искренность близка мне лично. Его пейзажи, натюрморты настолько глубоко прочувствованы, что воистину завораживают букеты душистых цветов, сочность спелых фруктов. В своих произведениях художник очень эмоционален, экспрессивен, всегда в динамике — даже позирующие модели наполнены внутренним динамизмом. Они думают, размышляют, разговаривают.

В моем понимании, именно благодаря творчеству Клычева в туркменском изобразительном искусстве появился полновесный и многогранный образ женщины — матери, жены, хранительницы домашнего очага. Помню, когда я сам был еще студентом художественного училища, мы стали свидетелями того, как впервые появились эти образы на Клычевских полотнах, какой поразительной силой они обладали, скольких авторов вдохновили на отображение женской красоты. Они очаровывают духовным богатством, достоинством, изящной статью. Это не изнеженные, а закаленные жизнью труженицы, в то же время не потерявшие

Клычев Иззат Назарович (1923—2006) — советский, туркменский художник-живописец, график, педагог. Народный художник СССР

Амансахатов Бердыгулы — живописец и сценограф, лауреат Госпремии СССР, заслуженный деятель искусств Хакасии.

своего очарования, привлекающие некоей таинственностью. Я думаю, что самую сокровенную и большую любовь к матери, жене, дочерям он впитал в свою душу, возвышенно отразив в своих художественных образах. Не побоюсь сказать, что женские образы Клычева наполнены божественностью.

При созерцании картин мастера на душе становится тепло и радостно. С богатым знанием о красоте в природе и жизни художник как бы разговаривает с нами словами притчи: «Взгляните, какой у меня отец и какая мать, сколько братьев и сестер, взгляните, как мы дружно живем, и тогда станут понятны и гордость моя, и моя уверенность».

Совершенно так: родная земля питает художника! Иззат Клычев чувствовал дыхание земли, радость жизни как никто другой. Не говоря о его тематических произведениях, в его пейзажах, натюрмортах звучат такая гордость, такая щедрость души, что они, словно буйная туркменская весна, дарят праздник красочности и торжественности природы. Весна в Туркмении короткая, но так глубоко заряжает энергией и оптимизмом, что хватает на весь год.

Картины Клычева — истинный гимн родному очагу. В них его душа поет, слышен звук народного инструмента — дутара, — как голос его духовного опыта, его безграничной благодарности родной природе.

По каким-то неведомым нам причинам художник не оставил ни одного своего автопортрета, хотя много и плодотворно работал в портретном жанре. Правда, если взять на вооружение цитату из творчества английского писателя и художника XIX века Сэмюэля Батлера, «Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, — это всегда автопортрет». Думаю, что полноценный образ Иззата Клычева надо искать в его миниатюрах. В станковых картинах он гордый, монументальный, масштабный, иногда даже суровый. А вот в миниатюрах находит отражение целый сонм его качеств и дарований. В них он жизнерадостный, яркий человек, щедрый художник, крупный композитор и изысканный юморист, и временами мальчишка-озорник.

Миниатюры, посвященные туркменским народным сказкам, восточной литературе или назидательно-бытовым сюжетам, — это искреннее и самое точное воплощение души Иззата Клычева. Изысканно-утонченный декоративный язык, ярко-звучный колорит, виртуозное мастерство композиций, красота и музыкальность линий, глубокое проникновение в духовный мир образов... Все это присуще творческой манере художника, делая его опыт уникальным по качеству находок, привлекая его современников; да и до сих пор влияет на творчество нового поколения живописцев.

Клычев много работал и в жанре книжной графики. Так, туркменский народный эпос «Гёроглы» он иллюстрировал дважды. К большому сожалению, первые его иллюстрации, выполненные в цвете, сгорели при пожаре в здании издательства. Книга была издана поспешно после пожара, и, видимо потому иллюстрации к ней были исполнены в манере линейной графики. Но даже и такой «обедненный» вариант поражает глубиной мысли и силой образности.

С упоением вспоминаю период, когда в девяностые годы мне довелось вместе с Иззатом Клычевым и замечательным туркменским графиком Курбангельды Курбановым работать над иллюстрациями к восьмитомнику «Тысяча и одной ночь», изданном потом в Ташкенте. Бесценный жизненный и творческий опыт!

По моим личным ощущениям, в последние годы жизни и творчества Иззат Клычев всё больше и больше уходил в себя. Он в советское время был общественным деятелем, много государственных, депутатских, забот. А на склоне лет ему открылось новое временное пространство, когда ни условности, ни конъюнктурные понятия не могут повлиять на чистоту и свободу собственной мысли. То несметное богатство, которое оставил он нам после себя, — лучшее подтверждение величины его таланта. Величины, которую мы, наверное, только-только начинаем постигать!

ИЗЗАТ КЛЫЧЕВ
К столетию Мастера



В Хиву. 1956



За лучшую долю. 1957



В пустыне Каракум. 1963



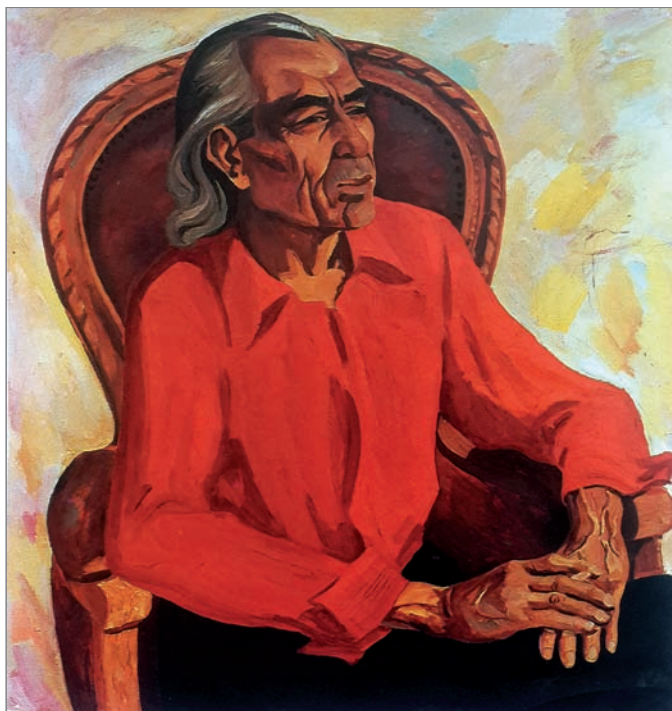
День радости. 1967



Материнская радость. 1967



Счастье. 1979



Портрет Базара Аманова. 1981—1982



Осенняя песня. 1982



Перед стартом. 1994



Парфянская долина. 1996



Миниатюра к сказке Акпамык. 1998



Волшебные узоры. 2001



Туркменские джигиты. 2001



Розы. 2001



Голубой Восток. 2002

Светлана Шишкова-Шипунова

Других писателей у нас не было...

Спустя три года после выхода книги Сергея Чуприна «Оттепель. События...» вышла новая книга автора, в которой ту же тему он исследует с другого ракурса: «Оттепель: действующие лица».

Поскольку у второй книги те же формат, обложка и объем (более 1000 страниц), ее можно считать продолжением первой, а обе вместе — диалогией. Но с таким же успехом она может рассматриваться как совершенно самостоятельное издание.

Главная разница — в принципе построения материала: в первом случае это хроника событий, строго ограниченная рамками исторического периода, который Чуприн обозначает предельно конкретно: с марта 1953 года (смерть Сталина) по август 1968 года (ввод советских войск в Чехословакию). Построена эта обширная хроника целиком и полностью на исторических документах и свидетельствах очевидцев и участников тех событий при минимуме авторских комментариев.

Совсем иначе выстроена вторая книга: перед нами — череда биографических очерков, расположенных в алфавитном порядке от А до Я — от Фёдора Абрамова до Александра Яшина. Подчиняясь алфавиту, Б.Ахмадулина стоит здесь выше А.Ахматовой, а И.Бродский соседствует с М.Бубенновым. Но так даже интереснее, ибо отражает большое разнообразие талантов и судеб людей, представлявших советскую литературу середины XX века. И автору удобно, не надо выстраивать иерархию на тему «кто в России первый поэт».

Однако это был рискованный проект, ведь биографии этих писателей и поэтов хорошо известны, многократно описаны. Но заслуга Чуприна, во-первых, в том, что даже в самых известных биографиях ему удалось сказать нечто новое, откровенное. Вот что пишет он, например, о Солженицыне:

«Он уже весь во власти своей миссии, понятой как горделиво одинокое противостояние режиму. И слово «одинокое» можно выделить, так как С. ни тогда, ни позже действительно не числил себя в каком бы то ни было общем ряду. В резоны «Нового мира» не входил, чужую помощь принимал как само собой разумеющееся, но сам поддерживать других не спешил: и В.Шаламову толком не помог с публикациями, и письмо в защиту И.Бродского не подписал, и вообще — как часто утверждают, — сражался только за себя и только за свои книги».

По-своему выписаны у Чуприна биографии Шолохова, Грибачёва, Веры Пановой, Вознесенского и многих других.

Во-вторых, Чуприн максимально расширил список персоналий, включив в него, помимо хрестоматийно известных, еще и литераторов, условно говоря, второго и третьего ряда, а также переводчиков, критиков, редакторов и сотрудников литературных журналов и издательств, руководителей Союзов писателей СССР и РСФСР, чиновников и политических деятелей, имевших то или иное касательство к литературным делам (от Хрущёва и Фурцевой до Бобкова и Яковлева), в целом — 358 действующих лиц, многие из которых мало или вовсе не известны широкой публике.

Скажу о собственных открытиях. Я, например, не знала замечательных стихов

Алексея Решетова. Ничего не слышала о судьбе талантливого критика Марка Щеглова, «первого из строгих юношей Оттепели», который умер в самом ее начале в возрасте 31 года... Не знала, что Анастас Иванович Микоян помогал театру на Таганке. И конечно, подивилась истории про ответственного работника ЦК КПСС И.Чернуцана, который, вызвав для «проработки» поэтессу Маргариту Алигер, влюбился в нее и впоследствии, уже выйдя в отставку, на ней женился...

Много любопытных, далеко не всем известных, часто трагических, порой забавных историй и эпизодов можно вычитать в новой книге Сергея Чупринина, так что перед нами — не просто «справочник», как скромно именует ее сам автор, а полноценное литературное произведение, читать которое интересно и увлекательно.

Биографические очерки в этой книге максимально кратки, от одной до четырёх страниц, но вмещают в себя всю ту информацию о персонаже, которую автор считал необходимым донести до читателя. Собранная вместе, эта информация даже позволяет составить некий обобщенный портрет советского писателя того времени.

Родом из провинции, писать начал рано, первые публикации были в местных газетах; войну прошел фронтовым корреспондентом, после нее поступил в Литературный институт, начал публиковаться в литературных журналах, с одной-двумя книжками вступил в Союз писателей...

Но дальше судьбы у всех разные — в зависимости от масштаба личности и таланта, отношений с властью и с коллегами по писательскому цеху.

Одни с властью ладили, и она наделяла их всяческими благами: партийными и депутатскими мандатами, должностями, квартирами, дачами, поездками за границу, а главное — огромными тиражами книг и правительственными наградами. Скажем, Константин Симонов с 1942 по 1950 год получил шесть (!) Сталинских премий.

Другие с властью не ладили, не могли пробиться в печать, подвергались репрессиям (писатель Олег Волков, например, отсидел в общей сложности двадцать семь лет);

чуть что — изгонялись из Союза писателей, подвергались разгромной критике, оставались без средств к существованию. Многие просто не дожили до времени, когда их книги были напечатаны. Так, главный труд Варлама Шаламова — «Колымские рассказы» — впервые вышел на родине отдельной книгой только в 1989 году, через семь лет после смерти автора.

Надо сказать, что тема Оттепели во второй книге оказалась несколько размытой, потому что временные рамки ее гораздо шире, ведь автору пришлось начинать свои очерки годом рождения героев и заканчивать годом их смерти. А родились более половины из них (если точно — 185) еще до революции, причем некоторые (43) и вовсе в конце XIX века. Самым старшим оказался в этом ряду писатель С.Сергеев-Ценский, родившийся аж в 1875 году. Трудно как-то соотносить его с наступившей спустя 80 лет Оттепелью, и я согласна с Сергеем Боровиковым, посчитавшим в своей рецензии¹ на новую книгу Чупринина этого персонажа излишним.

Тем более что в книге почему-то не нашлось места таким крупным фигурам, как Ф.Искандер, А.Битов, В.Распутин. Сам Сергей Чупринин на презентации книги пояснил, что относит этих писателей, скорее, к «семидесятникам». Что ж, это право автора.

Что касается молодого поколения поэтов, рожденных в 30-е, а в 60-е ставших символом Оттепели — Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский, — то они в книге, разумеется, присутствуют, но — вразброс, в алфавитном, как и все, порядке. Не будучи обособлены в группу «шестидесятников», они как-то потерялись в этой книге. Может, это и хорошо, потому что их успех, их стихи, их судьбы часто закрывали от нас всю глубину драматизма, в котором существовала литература тех лет.

Некоторые из действующих лиц Оттепели дожили и до перестройки, и до распада Союза, и даже до нового тысячелетия. У иных (и едва ли не самых талантливых) век оказался совсем коротким: Рубцов и Вампилов прожили тридцать пять лет, Высоцкий — сорок два

¹ С.Боровиков. Светлый луч. — «Волга», 2023, № 6.

года, Шукшин — сорок пять... Иные перешагнули рубеж девяноста лет: Леонов, Шагинян, Шкловский...

Важное уточнение: все без исключения герои этой книги умерли. Последними, уже в 2019 году, ушли из жизни поэты Горбовский, Коржавин, Соснора, критик Аннинский. Так что автор волен был, невзирая на авторитеты, сказать о каждом из них «всю правду», и выставить каждому окончательную оценку.

«Вся правда» начинается у Чупринина с указания настоящей фамилии персонажа (если он печатался под псевдонимом) и его принадлежности к той или иной национальности. Чаще, конечно, к иной, представителей которой чаще других называли в середине XX века «безродными космополитами». Таких в чупрининском списке 98 человек, чуть ли не каждый третий. Иногда заголовок очерка получается из-за этого довольно громоздким: «Инбер (урожд. Шпенцер) Вера Михайловна (Моисеевна)».

Не знаю, надо ли было это делать. Может, писатели должны оставаться в истории и в памяти читателей под теми именами, под которыми они вошли в литературу?

«Вся правда», конечно, не в этом. В советском литературоведении всегда были фигуры «неприкасаемые», говорить о которых можно было только в превосходных тонах. Таков признанный классик советской литературы Михаил Шолохов. В 90-е его незыблемый авторитет уже был поколеблен длительной дискуссией об авторстве «Тихого Дона», в которой, кажется, каждая из сторон так и осталась при своем убеждении. Чупринин упоминает об этом лишь одной строкой. Зато приводит неоспоримые факты биографии классика: «любимец Сталина», ученую степень доктора филологических наук он получил *honoris causa* (без защиты диссертации); будучи действительным членом АН СССР, в собраниях Академии практически не участвовал; много раз направлялся властями на принудительное лечение от алкоголизма. Рассказ «Судьба человека» написал, можно сказать, по заказу партии, во исполнение постановления ЦК и Совмина «Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных

и их семей» (что, конечно, не умаляет его литературных достоинств). А после выступления на XXIII съезде партии, где он «со свирепостью, беспримерной для оттепельной эпохи», громил уже отправленных в лагерь Синявского и Даниэля, почтовое отделение станицы Вёшенской «было завалено посылками с томами его сочинений». В последнее десятилетие своей жизни ничего, кроме речей и писем начальству, уже не писал.

Однако найдется ли в России читатель, который не знает, что Шолохов был «любимцем Сталина», крепко пил и много лет ничего не писал? Старшим поколениям всё это известно, но для молодых читателей, возможно, станет откровением.

В очерке о другом нобелевском лауреате — Иосифе Бродском (самом, кстати, молодом из персонажей книги — 1940 г.р.) — автор не дает никаких оценок его поэзии, зато рисует далеко не лицеприятный портрет человека. «Недоучка», с трудом окончил семь классов; «пусть не туняец, но уж точно летун» — за семь лет после школы поменял тринадцать мест работы, где числился в общей сложности два года и восемь месяцев. «Высокомерный» и «заносчивый», «органически не приспособленный (по словам Д.Самойлова) к отлитым формам общественного существования». Словом, «сам нарывался».

Такой портрет «неприкасаемой» уже в новой России личности свидетельствует о смелости автора, а вкупе с другими нетривиальными портретами делает, по моему мнению, его книгу уникальной.

Но жанр биографии в привязке к событиям Оттепели создавал для автора и определенные трудности. В первой книге дилогии о том или ином событии — будь то история с Нобелевской премией Пастернака, судом над Бродским или делом Синявского и Даниэля — рассказывалось, как правило, один раз, в одном месте, при этом уже там указывались имена действующих лиц, которые были «за» или «против», голосовали, к примеру, за исключение Б.П. из Союза писателей или уклонились от голосования, подписывали письма в защиту И.Б. и других или, напротив, призывали к расправе над ними. Во второй книге каждое из таких знаковых событий Оттепели автору пришлось повторять едва ли не все 358 раз, по числу действующих лиц,

а это, что ни говори, несколько утомительно и для читателя, и, наверное, для самого автора. Впрочем, для автора эти бесконечные упоминания не столько вынужденны, сколько принципиальны, ведь он оценивает каждого из своих героев с двух позиций: творчества и гражданского поведения. Причем второе часто ставится впереди первого: «Поступки помнятся, даже если тексты уже забыты». Другими словами, будь ты даже хороший писатель, но, если вел себя неправильно, потомки тебя не вспомнят добрым словом. И наоборот.

С этим можно и поспорить. Поступки помнят в литературной среде, массовый читатель может о них и не знать, а вот книги, если он их читал, наверняка помнит. Но книга Чупринина, как бы этого ни хотелось автору, для массового читателя будет скорее всего неподъёмна (прирученный соцсетями, он тысячу с лишним страниц просто не осилит). А для литературного сообщества, для нынешних и будущих исследователей советской литературы — это незаменимый источник знаний, другой такой книги не было и нет. И пусть скажут спасибо автору, разложившему для них всё по полочкам.

Кого-то он уже в первой строке очерка называет «гением» (Юрий Лотман). Кого-то с первой же строки припечатывает: «ничтожество». Казалось бы, зачем такого вставлять в книгу? А есть зачем: «...И ничтожество может сыграть свою роль в истории, причем немалую». В данном случае речь о Я.Лернере — одном из авторов статьи «Окололитературный трутень», с которой, собственно, и началось судебное преследование Иосифа Бродского.

Безусловными героями Оттепели являются для автора наиболее часто и с большим пиететом упоминаемые Твардовский и Пастернак, Дудинцев и Гроссман... Антигероями — так же часто, но уже без всякого пиетета поминаемые Софронов и Кочетов, Бабаевский и Шевцов, «иные многие», как любит выражаться Чупринин. Одни — истинные таланты, «фрондеры» и борцы с цензурой, другие — «бездари», «автоматчики партии» и даже «мракобесы».

А кто-то — в классификации Чупринина — не примыкает ни к «автоматчикам партии», ни к «фрондерам», существует сам по себе.

Вот, например, пассаж о Юрии Нагибине: «В партии не состоял. Идеологическим экзекуциям не подвергался и сам в гонениях

на писателей не участвовал. С советской властью не боролся, но и к числу ее пропагандистов никак не принадлежал. Карьеры литературного сановника не сделал, государственных премий не выслужил, но и от андеграунда был далек. Предосудительных публикаций в эмигрантской печати не имел. Всамиздат не выходил. Дискуссионным не был. Статей о литературе, во всяком случае, современной, не писал. Никому, кажется, из литераторов следующих поколений не помог. Да у него, собственно, даже и учеников не было, как не было и своего ближнего круга друзей-единомышленников».

В этом пассаже, если убрать все частицы «не», содержится портрет «правильного» писателя, а Нагибин, получается, писатель «неправильный», поскольку никакой гражданской активности не проявлял, просто писал свои книги и сценарии к фильмам (кстати, весьма успешным), а перед смертью еще и обнаружил личный дневник, тут же ставший бестселлером.

Или вот поэт Владимир Соколов, «самый тихий из лириков», этот тоже «не состоял, не был, не участвовал, не подписывал» и т.д. Просто писал стихи.

Однако ведь сказано было еще в XIX веке: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». А в XX веке добавлено: «Поэт в России больше, чем поэт». Потому и строг, а порой и беспощаден автор к своим героям.

Но, знаете, жалко их всех... Писать книги вообще-то трудно. А их еще и цензура терзала, идеология давила, и война на их долю выпала, и репрессии; в мирное время чуть ли не все (и «хорошие», и «плохие») алкоголизмом страдали, кто умер рано, кто с собой покончил; мало кто из них был счастлив в личной жизни, да и в Союзе писателей у них между собой — не братство, а вечные зависть, подстава, предательство...

Но опять же сказано было: «Других писателей у меня для вас нет».

И, может быть, поэтому почти каждый из своих очерков Чупринин заканчивает вопросом о том, переиздаются или нет сегодня книги данного автора, читают их по-прежнему или они давно забыты, тем самым все-таки возвращая нас к художественной ценности оставленного тем или иным персонажем литературного наследия.

Александр Марков

Слеза времени и апеллесова черта

Седьмая поэтическая книга Льва Оборина, известного всем литературного многостаночника, делится на две части, условно «до катастрофы» и «после катастрофы». Эпические и иногда иронические произведения первой части сменяются обрывистыми, абсурдными, невероятными во второй. Но вернее было бы говорить о том, что в первой части — отгадки, а во второй — загадки. Любая отгадка как процедура требует навыка хотя бы ненадолго подружиться со временем, как школьнику нужно уметь распределить минуты урока, чтобы решить все задачи.

Наиболее частый сюжет в первой части книги — *ограниченность времени*, не только времени разговора, но и времени для перемены разговора. Ты не успеваешь всё объяснить, но, хуже того, не успеваешь и переменить разговор так, чтобы подобрать новые примеры или новый тон для объяснений. Лирическое настроение появляется тогда внезапно, но полным потоком:

ко всему привыкшие, доброе слово
курлычащие: доброе утро,
доброе утро,
или ночные рельсы, проброшенные
апеллесовой кистью к астрономии
семафоров.

Апеллесова черта точности оказывается скоростью поездов, вроде бы прибывающих по расписанию, так что в мире порядок. Но для этого порядка нужно назвать день и ночь, вернуть им лирическую силу, и тогда только можно точно заговорить о точности.

Лев Оборин. Ледники. — СПб.: Jaromir Hladik press, 2023.

Дело в том, что время в книге Оборина — это не счет событий или промежутков для событий, не безучастная среда. Время — это редактор наших мыслей («Сезонное существо/кладёт на аптекарские весы/ новые обстоятельства»), время — это и сама обида на недовес на этих аптекарских весах, детская слеза и первая детская поездка. Апеллесова черта подводится под обидой, с напоминанием, что утро вечера мудренее, и тогда все огорчения пройдут.

Примиряет с несправедливостью времени, неточностью, обидчивостью его и обидностью, только то, что время не убивает. Метафора времени-убийцы, времени, которое истребляет все и уносит дела людей, Оборину в этой книге совершенно чужда. Убивает не время, а кто-то посредством времени, вероятно, тот, кто неаккуратно пользуется знаками препинания, ставит запятую там, где надо поставить точку, или наоборот, тем самым обрекая вещи на преждевременную смерть, а людей — на непонимание:

Из последней запятой
льются бредни шапито
нитью тянется надой
в листьях вянет шепоток
тонет хлипкое не то
то ли рыбкою блазнит
день продавлен в решето
день приятен день размыт

Такая лирическое бормотание, с какой-то галантностью дикции, более всего говорит о том, какие катастрофические последствия несет неправильная пунктуация жизни, когда ты забегашь вперед себя, не дожидаясь своего счастья, или остаешься позади себя, из-за робости перед настоящими поступками.

В первой части книги привычные фигуры поэтики, известные из школьного учебника, превращаются в способ как раз увидеть, насколько *ясное утро* мудренее даже самого опытного вечера. Например, анжамбеман, словесный перенос, создает всякий раз воображаемую коллекцию, воображаемый музей: «поток / из красивых стрелок и знаков». Коллекция как бы не умещается на одной полке, но ясная дикция позволяет с ней справиться, не погубив и не потеряв ни одно впечатление.

Анафоры и эпифоры создают нечто вроде монохромной фотографии, «чернил в принтерах», условного плоскостного изображения, выдающего реальность с головой, «что пол — это лава», что воздух похож на ртуть и «как пила», постоянно появляется *бесформенность и беспощадность фотоглянца* вместо привычной жизни. Повторения в книге Оборина заслужили бы отдельного исследования, как они выдают будто на *тайно сделанных фотографиях* не только поэтическую кухню, но и поэтическую гостиную, и балкон, и улицу со всеми несправедливостями глянцевого эпохи, где мрачные курьеры не замечаются не менее мрачными гуляками. Размытие, отблеск, блик, частичное засвечивание чувств — вот какие сюжеты складываются из изошрённой рифмовки, ассонансов и строфических мимолетных заметок, и реальность всякий раз напоминает о себе сильнее любых представлений о ней.

Глоссы, цитаты из хрестоматийной русской поэзии, вводят ярость почти рок-поэзии:

моя лошадка, снег почуя,
не понимает, зачем хочу я
здесь стоять в самый тёмный вечер в году,
между лесом и озером; звонкой сбруей

встряхивает: я здесь и жду,
почему я стою и никуда не иду?

Это и самописание поэта в Сети, который как будто открыт всем, в свободном доступе и потому всем известен. Такой судьбе не последнего поэта, по Баратынскому,

а последних поэтов, посвящено стихотворение «Мороз не снисходит до слов языка...» — но только там на смену поэзии приходит не коммерция, а отсутствие точки отсчета для поэтического опыта:

дух гоголя зябнет, чернеет январь
натурализованный санта
но чувство, что нам подарили словарь
в порядке лендлиза/десанта

Отгадывая привычное, например, разочарования после новогодних праздников, мы отгадываем и непривычное, например, кто такие эти «мы», и почему поэты вдруг во множественном числе. Просто *мы* никогда не сводимся к известному о нас, а иногда сама обида времени напоминает не только о твоей миссии как поэта, но и о миссиях всех других поэтов, кого ты знаешь.

Во второй части стихи часто загадывают слово, которое мы сразу можем назвать после прочтения стихотворения: «думскролинг» (лихорадочное перелистывание ленты в социальных сетях в поисках сообщений о бедах), «мем» или «календарь». Здесь сама честь встречается с этими «мы» поэтов, с тем, что осталось от «я» после духовного путешествия, в котором мы столкнулись и с другими поэтами, выполняющими свою миссию. Если в первой части была *отгадочная* выдававшая реальность фотография, то во второй — *загадочная* замедленная съемка катастрофы и всех ее элементов, как если бы камеры были установлены не только снаружи явлений, но и внутри них; допустим, внутри походной фляги с водой, внутри пули, внутри погоды и внутри помешательства:

Уже закипает, осколок.
Лей себе в горло
колониальный товар,
разведённый своей
мутной водой.

Как в первой части Оборину чужда метафора истребляющего времени, так во второй части чужда метафора «эха событий». Здесь нет никакого эха; есть пленка, перемотка, «змеи магнитных лент», не уменьшающие катастрофу:

но и времени, которое он не выбирал: его собратья, мастера кисти, своеобразно поздравляют юбиляра, продолжая, словно бы со страниц передовиц, клеймить его за формализм, чуждость массам и увлечение старым бытом, не полностью изжитое Усто Мумином, по их мнению, даже на пороге шестого десятка. Они желают ему перестроиться, прожить еще полвека и создать новые образцы подлинно советского искусства. Усто Мумин, вернувшийся из лагерей фактически инвалидом, проживет еще десять лет и не создаст больше ни одного значительного полотна, которое можно было бы поставить в один ряд с его работами 1920-х.

В книге Шафранской нет вклеек с репродукциями, но иллюстрации, в том числе работы Усто Мумина, подобраны и расположены так бережно и тщательно, что кажется: он сам иллюстрировал книгу о своей жизни. Качество цветной полиграфии позволяет в достаточной степени оценить мастерство художника.

Книга разбита на девять разделов, отслеживающих события жизни Усто Мумина в хронологической последовательности. В некоторых из них — особенно первых — фигура героя повествования проходит пунктиром, иногда теряясь в пейзаже, заслоняясь современниками. Художник не вел дневников и был не охотник переписываться. Поэтому автор книги вынуждена не столько черпать, сколько вылавливать скудные сведения и воспоминания о нем из свидетельств людей, входивших в орбиту его жизни. Это дневники Виктора Уфимцева, Ольги Бессарабовой, повесть Энны Аленник «Напоминание», одним из прототипов которой стал Усто Мумин... Мы узнаём достаточно подробно о театральной жизни Воронежа, о художественной среде Оренбурга, о жизни коммуны молодых художников и археологов, занимающихся реставрацией памятников старины в Самарканде. Сам же герой подолгу не появляется среди мелькающих в книге лиц, он не спешит предстать перед нами, подобно персонажу пьесы Клода Манье «Оскар». Его образ проступает в книге постепенно и не целиком, как утопленные в желтой бумаге портреты современников, которые писал

Усто Мумин в 30-х и 40-х, после того как период рисования прекрасных юношей был насильственно прерван крепчающим идеологическим диктатом. География перемещений Усто Мумина по стране вплоть до его ареста впечатляет: Воронеж — Сумы — Тверь — Воронеж — Москва — Воронеж — Оренбург — Ташкент — Самарканд — Ташкент — Ленинград — Ташкент — Москва. Возникает ощущение, что художник сознательно уклоняется от внимания, ускользает из фокуса зрения своего хищного века. Цепляется за все более призрачную возможность собственного мира, не вовлеченного в строительство коммунизма и ниспровержение традиционных устоев, и собственного пути в искусстве.

В последнем, девятом разделе Шафранская совершает экскурс в историю суфизма и сопоставляет образ жизни странствующего суфия — дервиша — со стратегией жизни Усто Мумина. «Путь, избранный Усто Мумином, — отмечает автор, — напоминает путь дервиша по двум причинам: с одной стороны, художник предстает перед потомками, если использовать лесковское определение, «очарованным странником», с другой — история знает немало примеров, когда маска дервиша была продуктивной и спасительной одновременно...» По утверждению автора, Усто Мумин был «странным, другим русским», то есть «русским дервишем» в восприятии среднеазиатов.

Случай Александра Николаева уникален для русского деятеля искусства, да и вообще для русского интеллектуала. В 1919 году, в разгар Гражданской войны, начинающий художник уезжает из Воронежа в Среднюю Азию. Революция высвободила огромную массу творческой энергии, включив социальные лифты и вызвав во многих одаренных людях жажду жизнестроительства. Однако герой книги приезжает в Ташкент, а затем в Самарканд, не с цивилизаторской миссией, как большинство его соотечественников, не с целью «вести организационную культурно-просветительскую работу», как указано в сопутствующих официальных документах, не для того, чтобы бороться с пережитками

старины. В 1939 году, находясь в заключении, Николаев признаётся во взятых у него показаниях: «Известен мне был... классический случай с крупным французским художником Поль Гогеном, который 7 лет прожил на острове Таити, живя как туземец, исполняя все их ритуалы и обычаи. Это дало ему возможность создать себе большое имя благодаря блестящим работам, написанным им на о. Таити. У меня явилась мысль повторить этот опыт на себе». Очарованный Самаркандом Николаев поселяется в глубине города, тесно знакомится с жизнью окружающих людей, начинает носить национальную одежду, изучает язык, берет себе узбекский псевдоним («правоверный мастер») и, наконец, принимает ислам, поразив хозяина дома, где он снимал жилье, а затем и муллу знанием содержания Корана и чтением наизусть молитв на арабском.

«Николаев, если судить по слухам и свидетельствам, не играл в подражание, — полагает Элеонора Шафранская. — Он и физиологически, и ментально, и эмоционально жаждал вписаться в новый быт, в новую для него культуру».

В своих работах 20-х годов Усто Мумин органично соединяет технику эпохи Раннего Возрождения с искусством восточной миниатюры. Дувалы, перепёлки, плоды граната и стройные юноши симметрично располагаются на его полотнах по законам живописи итальянского кватроченто. Семьдесят лет спустя похожего эффекта добились поэты Ферганской школы, соединившие южноевропейскую просодию с реалиями среднеазиатского пейзажа и быта. Усто Мумину повезло меньше: он попал в тиски карательной

машины, из которых вышел надломленным и искалеченным, значительная часть его работ бесследно пропала. Возможно, книгу стоило назвать иначе: «Усто Мумин: развоплощение». Это более точно отражало бы судьбу художника. И все же мир не поймал его. Вчитываясь в стенограмму творческого вечера, мы находим человека, согласившегося играть по правилам навязанной ему игры, но не утратившего ироничной дистанции по отношению к ней. Отвечая на упреки в недостаточной реалистичности и понятности его работ для широких масс, он заявляет, что не верит «фотографической правде — она случайна и поверхностна и более условна, чем любая живопись». Далее Усто Мумин вспоминает случай с «простым самаркандским парнем», которого он рисовал в 1922 году: «Он видел, как на бумаге черта за чертой возникает его изображение, и он радовался как ребенок, узнавая человека, да еще самого себя. А потом за чаепитием я показал несколько бывших у меня фотографий портретов людей, и он, рассматривая их, просто не понимал, не видел в них изображений людей».

Советская идеология культуры очевидно недооценивала человека, огрубляя и упрощая его эстетические потребности, вынуждая художника опускаться до уровня обывателя и обслуживать соцзаказ. Подлинное же искусство основано на доверии к зрителю, оно не терпит диктата.

Продукция «проработывавших» Усто Мумина собратьев канула в Лету: художники, стремившиеся угодить массе, в этой же массе и растворились. А легендарный мастер, мерцающая и исчезающая в глубине ушедшей эпохи, продолжает жить в своих лучших полотнах.

Александр Чанцев

Аскетические практики последних вопросов

Состав этой рубрики, посвященный всегда книгам различных авторов, не совсем обычен. Во-первых, здесь одновременно присутствует и книга Владимира Библихина, и книга о нем. Необходимости обосновывать подобное внимание к такой фигуре, думаю, нет. Во-вторых, Георгий Гачев — первый случай, когда какой-либо мыслитель обсуждается в моей рубрике во второй раз¹. На это есть несколько причин — и то, что в его книге отражается целый спектр русской философской мысли, и то, что сам очень вольный, на грани жанров и создания собственного способ его философствования крайне близок к тому способу свободного мышления, который и интересует меня в этих колонках, и, наконец, сам посыл его мысли, о котором мы и поговорим здесь. Мысль же эта не только имеет непосредственный выход на самую острую нашу современность, но и дает ответы на сакральные, последние вопросы. Что делать?

Пограничник познаваемого

Владимир БИБИХИН. Отдельные записи 1965—1989 годов. — СПб: Владимир Даль, 2022. 816 с.

Если бы меня спросили о некоей универсальной классификации философов, я бы точно выделил три категории. Те, кто интерпретирует других, занимается как бы скромной экзегезой, но — создает собственную философию (самый классический пример — Кожев). Философы, скажем так, классические. И — философы устные. Те, кто реализуется в разговоре (собственно, так и возникла философия в Греции), даже не в поучении-научении, но в вольной беседе. Мысль их наиболее неконвенциональна, свободна, эссеистична. И интересна.

Хотя, возможно, все это лишь разные грани, констелляции существования философской мысли, просто мысли. Тем более что все деления, понятно, весьма условны: так, Чоран — философ безусловно устный, но выступал редко, разве что на званых обедах, когда высокими беседами «оплачивал» бесплатную еду-поддержку, а письмо его если и обращено формально к другим, но больше к себе, к крайним вопросам, к никому, распаду и небытию, то есть импозитивно весьма.

Что же касается Владимира Библихина, то я бы отнес его все к тому же наиболее мне симпатичному третьему виду философов, тем, кто пробивает иные пути не только в мысли, но и форме ее изложения. Признав, разумеется, «наличие отличительных признаков» двух иных категорий.

Посему этот том — а Библия сейчас издаются, спасибо большое тем, кто это делает, — никак нельзя отнести к маргиналиям. Дескать, дневниковые записи, хотя даже и не дневниковые, часто без дат, на отдельных листочках, с 1965 по 1989 годы, дальше жанр для мыслителя перестал существовать, что-то из них вошло в книгу «Узнай себя» (первоначальное редакторское название «Из записей на тему самопознания»), что-то и не вошло. Но — мне кажется, это как раз тот жанр (один из, если говорить о других книгах, но о них сейчас не позволю распространяться объём), где Библия раскрывается во всей силе, полным букетом, со всеми аспектами и нюансами.

Очень показателен эпиграф, предпосланный составителями О.Лебедевой и С.Невзоровым этому обширному тому: «...Перечитывая свои записки (жаль, что многие небрежные), неожиданное понимание: не примеряй свою данность ни к чему другому, ни с чем не сравнивай, ничего не проси, ничего не бойся, ничему не верь, не удивляйся своему удивлению. Как в тумане, в котором уже неделю плывет Москва. В записках твоих ответа нет и не будет, никуда ты не придешь, твои записки — проблески твоей жизни, не больше». Да, это такая мысль, которая произрастает сама по себе, существует из себя и мира. Конечно, есть тут и сравнения, и вера в других, и всё личное, дневниковое же оно всё же. Но есть тут и такая гордость одинокой мысли, что, в принципе, могла бы существовать без всего этого, без внешних раздражителей. Ибо раздражители ее внутри и (с)выше.

Если уж не просто уходить в нее, следовать ей, следить за, а опять же как-то квалифицировать пытаться, то да — названия порожденных этими заметками книги (свое и редакторское) точны. Тема самопознания тут превалирует — если можно так сказать о восьмистах страницах, освещающих буквально все: от философии до телевизионных новостей. «Познание есть познание образа того, что познается. Это — единственно возможный вид познания не потому, что рядом с ним не существует никакого другого, а потому, что всякое другое познание недоступно человеку». Можно в связи с этим в скобках сказать, что рассуждения о ненасильственном узнавании себя в противовес познанию (познание всегда есть насилие, в том числе над собой, античность и наследующий ее западный мир никогда не знал милосердия), есть те самые цепко держащие исторические и местные связи, тот особый гибридный русский путь, и в мышлении в том числе... И если человеку в полной мере недоступно познание, как минимум тяжело оно и непостижимо, то ему доступно письмо, которое само и есть познание. Непростое, разумеется. «Мучительное напряжение маячащей в тумане и всё никак не угадываемой близости собственного я настолько велико...» / «Так я понял, что в мире тверди нет. Он — оборотень. Зло оборачивается здесь доброй злостью, благо — блажью, добро — добротой». Но — «природа души — утверждение. Оно тонет в оборотне-мире, лишь когда пытается утвердиться через его видимые формы, потому что все эти формы распадаются перед ее тяготением к основанию».

Познание — процесс лиминальный, пороговый, то есть совершающий тот переход через Альпы, по одну сторону которых ты еще ничего не знаешь, а по другую что-то брезжит, высвечивает и ведет дальше.

Возможно, поэтому Владимир Библин и говорит здесь — среди многих, но больше всего — о тех мыслителях, кто и был радикален, неформатен, как сейчас бы сказали, уходил глубоко и далеко в новое, делал это непривычно, опять же современный термин, некомфортно. Киркегор, Хайдеггер, Тейяр де Шарден. Отдельно несколько раз обсуждается паламитство (суть радикальный извод православия) — в привязке к его исследовательскому и проповедническому Хоружему и безотносительно. «Продирание сквозь бесчисленные и тугие оболочки защищенной рациональной самости с ее свободой к беззащитности жизненного простора и воли — трудно и страшно. Меня цепко держат все исторические и местные связи, из которых я, здешний и теперешний, собственно говоря, только и состою», как сказано после пассажа с разговором с Тейяром де Шарденом.

Есть ли при этом прорыве на другую сторону, по Джиму Моррисону, при работе на границах познаваемого какие-либо жанровые ограничения? Нет их вовсе.

На каком-то этапе я стал отмечать для себя все жанры, недосчитался разве что эпоса и драмы. Ибо в этих пестрых и цельных записках присутствует буквально все:

- сны
- стихи
- философия, конечно
- афоризмы («Бродим по развалинам. Кто сказал, что еще не было ядерной бомбы? Она брошена в сердца»)
- пророчества («Внешний “гладкий” образ цивилизации — лишь выражение тоски творцов по ее гармонии свету. Отчаянно выбрасывая в мертвую природу силу, в душе человек остается дик и темен. Мир наполнен силами разрушения. Если не сдержат их, для человека не останется на земле места»)
- автобиографическое («Я отношусь к тем, кто проходит по жизни как бы пробно. Пустите их по ней второй раз, и они будут действовать иначе и намного разумнее»)
- даже отчеты о кафедральных/редакционных делах, интригах там
- любовные письма
- молитвы
- чуть ли не автоматическое письмо, проза такая²
- дзуйхицу («Вчера был пожар. Поймешь сжигание городов. В эпоху костров, печей и пожаров было теплее на душе, человек помнил себя выше. Теперь он отдал ведение за знание, знание за информацию...»)
- богословие, теоретическое и личное («Бог, сошедший в ад, равномошен сидящему на престоле. Господи, кости мои рассыпались; не оставь меня, когда будешь возноситься! Не за заслуги, не по достоинству, по дружбе Твоей, по этому соседству нашему странному, подними. <...> Мы представляем себе Бога в скроенных по нашей мерке образах, и вообще, представляем в образах, когда Он — не образ, а образ образов, не явление, а явленность, явность. Чем отчетливее, как нам кажется, мы видим Бога, тем злее обманываемся»)
- парадоксы («Говорят, что Достоевскому³ и Фрейдю мы больше, чем другим, обязаны открытием нашего внутреннего мира. Но они не столько открыли, сколько закрыли его от нас, заселив везде ровную и понятную землю сердца, приятную и прекрасную в одних местах, суровую и требующую прямого мужества в других — чудовищами, космическими силами, жуткими оборотнями, на которых управы нет»)
- ницшеанские максимы («О, самоуверенный, напористый дух благополучия, вовлекающий “близких” в заговор совместного сна и смертельно ожесточающийся против “дальних”! Лишь бы оттянуть момент пробуждения, лишь бы не прерывать убаюкивающего сонного бормотания, лишь бы не услышать крика!»)
- ирония (о тех же делах академических — «растерянность загорается на лице античного хора, когда следующий оратор объявляет своим предметом светомузыку и просит приготовить к тому, что в голубой гостинной выключат свет»)
- наставления а-ля Монтень («Как лучше спастись в разговоре от своей собственной якобы остроты и блеска? <...> Лучше выбрать несуетную тему; т.е. беглый стиль разговора требует и особых — foolproof — тем. Скажем, суетность, наша слабость, легкомыслие, непостоянство».)
- описание курса по гражданской обороне, который В.Бибихин вынужден был вести!
- разговор с редактором и корректором
- мемуарное, о Лосеве, Тахо-Годи, Трауберг, Роднянской («Ира»)
- политика.

Это именно тот случай, когда цельность конструируется дискретностью, что гораздо сложнее и интереснее. И это же — прямое свидетельство, хроника того, как работает мысль Владимира Бибихина. И наша, по мере возможности.

Аскетическая практика, невидимое сообщество и (не)возможность неполитики

Философия. Журнал Высшей школы экономики. — 2022. Т. 6, № 3. Философское наследие Владимира Библихина. 402 с.

Не теряющий своего весьма высокого уровня журнал — интересно, заметим в скобках, что институциональное издание вместо, как велел бы канон жанра, имиджевого и факультативного для большого высшего учебного заведения уверенно теснит в нише нашей лучшей философской периодики традиционно самостоятельные, специализированные издания — с самого своего создания радует тематическими выпусками. Посвященный В. Библихину — уже второй⁴. Оба этих номера публиковали доклады, прозвучавшие на Библихинских чтениях. Этот номер — в октябре 2021 года в городе Бежецке (Тверская область), где «прошли “Третьи Библихинские чтения”, которые в очередной раз собрали исследователей наследия Владимира Вениаминовича Библихина из разных университетов России от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону». Очень радостно, что хотя бы два начинания не заглохли в наши непростые дни, не заброшены их организаторами в очередном жесте того, что считается солидарностью и поддержкой (как можно что-то поддерживать, ничего не делая, лично для меня вопрос...).

Сборник и начинается с того, о чем мы уже говорили, — с невозможности точно квалифицировать сам феномен Владимира Библихина, бегущий определений. Михаил Богатов, профессор Саратовского университета, доктор философских наук и, что даже важнее, давний исследователь миров Библихина, подчеркивает: «В первую очередь, мысль Библихина чрезвычайно сложно классифицировать, а он сам не относил себя ни к одному из существующих направлений философии или, шире, науки; более того, он всячески стремился избежать подобной ангажированности. При этом мы не можем сказать, что философия Библихина представляет собой скорее достояние художественного слова (как, например, творчество Василия Розанова — излюбленного Библихиным автора), нежели научной мысли. Ее непременный признак — строгое определение предметного поля и метода исследования, а также формулировка предварительных ожидаемых результатов и выдвижение гипотез, сопутствующих их предполагаемому достижению. Ничего подобного в работах Владимира Библихина — особенно в его лекционных курсах — мы не встречаем. В редких случаях, когда такие цели декларируются привычным для научно-ориентированного взгляда способом, автор формулирует их настолько своеобразно, что для стороннего читателя они остаются фактически непонятными. Таким образом, мы имеем дело с отсутствием самодекларации, а также с прямой невозможностью определения философии Библихина как принадлежащей к одному из существующих традиционных направлений извне. Сама эта трудность может быть раскрыта по нескольким аспектам». Далее Богатов через отрицание пытается идентифицировать эту несхожесть. Библихин не был ни марксистом, ни тем, кто, когда официальная советская идеология рухнула, срочно переквалифицировался в исследователя, например, отечественной религиозной философии (о ней, заметим, он писал и раньше). Отличало его и еще одно свойство — совершенно замечательное, на мой взгляд, особенно сейчас, когда наличие блогов как бы буквально («Александр, что у тебя нового?» — звывает ко мне, например, «ВКонтакте»), почему-то считая, что мы пили на брудершафт) стимулирует буквально любого человека на высказывание обо всем и, чаще всего, о том, в чем он абсолютным образом ничего не смыслит. «Фактическое игнорирование так называемых “актуальных вопросов современности” (которыми сегодня по преимуществу занята “социальная философия”, наследующая “историческому

материализму”) становится здесь своего рода аскетической практикой, позицией, как бы заявляющей нам: любая современность, если только она имеет хоть какой-то смысл, может получить его в том, что уже сказано». Воля ваша, но аскетическая практика — это очень хорошо во всех смыслах и случаях.

При этом сам по себе он был всегда — очень многим: «Тематическое богатство творчества Библихина указывает нам на его предельно широкую гуманитарную “междисциплинарность”»: он выступает не только философом, но и философствующим историком, филологом, лингвистом, переводчиком, ученым (если понимать науку не в современном смысле, закрепляющем по узким специальностям своих агентов, а, скажем, в смысле античном — в качестве “первой философии” — или в смысле эпохи Возрождения)». Но и тут, занимаясь очень многим (возьмем хотя бы список его лекционных курсов — или имеющуюся на сегодняшний день библиографию), ни одну из тем он не «застолбил», не сделал «своей», а на ней — не стал делать имя и карьеру. «Он не стал, скажем, специалистом по Эжену Ионеско или, к примеру, по Зигмунду Фрейду. И хотя Хайдеггер здесь — случай особый, однако Библихин хайдеггерянцем не был ни в одном из возможных смыслов этого слова»⁵. Богатов — подходя к феномену неопределяемости Библихина — не только глубоко и точно презентует тему, но и дает как минимум два точных определения. Во-первых, выстраивая хронологию развития Библихина, он замечает, что «скорее мы должны здесь говорить о своеобразном накопительном вызревании его мысли». Кажется, это очень точно, имея в виду развитие, циркуляцию тем в книгах Библихина. Во-вторых, говоря о тех, кого Библихин переводил (комментировал, преподавал и т.п.), Богатов определяет причину этой интенции следующим образом: «Для Библихина (как и для Гаспарова, и Аверинцева, и ряда других) здесь важны были не только те авторы, над которыми они размышляли, но и те, кого они переводили, порою не давая особых комментариев. В этом смысле мы имеем дело не столько с работой профессиональных переводчиков, сколько с заботой о введении в поле отечественной культуры тех, с кем легче и лучше быть в современности данного культурного поля. Таким образом, это сообщество заботилось о присутствии в современности достойных друзей — авторов прошлого, которые, согласно определению Аристотеля, только и делают самих участников дружбы лучше и достойнее». Нельзя не согласиться с благодарностью с этой мыслью — действительно, каждый хороший, прочувствованный перевод есть перевод единомышленников и друзей через время, такой переплыв на ладье Харона в обратном направлении. В то время, когда как минимум того же «Бытия и времени» не существовало на русском, это видится справедливым вдвойне⁶.

Сам разговор о невозможности определения мыслителя дал нам целый спектр ценнейших определений и мыслей. Поможет во многом сборник и далее в более конкретной констелляции — позволит уточнить и дополнить темы, затронутые нами в разговоре о дневниках Библихина.

— Например, о круге общения Библихина, точнее, об его эгегоре — но и тут Богатов выступит с гораздо более удачными формулировками: «Остальные коллеги упоминаются с непременным уважением и почтением: Рената Гальцева, Сергей Аверинцев, Алексей Лосев, Наталья Артемьева и другие. Мы говорим об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть: Библихин не мыслил в пустоте и одиночестве, хотя и открытым для поиска истины академическим сообществом эту среду назвать тоже нельзя хотя бы в силу отсутствия соответствующих академических свобод для открытого проведения конференций и возможностей публикаций. Помимо упоминаемых самим Библихиным коллег, в первую очередь по переводческому цеху (рефераты для служебного пользования предполагали, что их авторы переводят и более-менее кратко пересказывают, не добавляя от себя), мы бы хотели обратить внимание на состав куда более малочисленного, но для нас более известного “незримого сообщества”,

задающего упомянутый выше фон мысли и творчества Владимира Вениаминовича. По меньшей мере друг о друге эти люди знали. Нам видится важным назвать такие фигуры, как Алексей Фёдорович Лосев, Михаил Михайлович Бахтин, Сергей Сергеевич Аверинцев, Михаил Леонович Гаспаров. Кроме того, нельзя не упомянуть уже о достаточно личном, малом круге друзей Владимира Вениаминовича, а именно об Ольге Александровне Седаковой, Сергее Сергеевиче Хоружем, Анатолии Валерьяновиче Ахутине».

— Статья Екатерины Хан позволит нам поразмыслить о термине «самопознание», которым мы так вольно оперировали в первой подглавке: «Прежде всего, стоит сказать, что подступы к “узнаванию себя”, искание “своего” В.В.Бибихин весьма настойчиво отличал от самопознания. Разницу между узнаванием себя и самопознанием можно охарактеризовать так: опыт узнавания себя — не опыт определенности, но опыт открытости; не критически-рефлексивное рациональное полагание (“огораживание”), но послушное принятие другого и мира и замороженность невидимой и безусловной цельностью мира, в котором мы всегда уже оказываемся. Эта замороженность кроется в загадочной фразе “это ты”. Самопознание, как считает Бибихин, идет рука об руку с грабежом мира, в то время как узнавание себя позволяет стать этим миром захваченным».

— Из ее же работы мы сможем не узнать, конечно, точные координаты лиминальных исканий Бибихина, но получить ассоциативный намек о том, что же там все-таки происходит: «Психоаналитическому бесконечному “выговариванию себя” философ противопоставляет опыт молчания, а неизбежно пережитой травме — поступок понимания “на границе безусловной нищеты и безусловной свободы”».

— И, наконец, все в той же статье о таких захватывающих темах, как детство⁷ и сны⁸, мы подойдем к подступам понимания, почему дискретность тех же дневников — и тех же научных поисков, их тематизирования? — была по сути основополагающей для Бибихина: «Правда сновидения, замороженность детской любознательности и абстрагирование от своего эго, от своей личности подводят Бибихина к еще более радикальной, чем феноменологическое эпохе, установке философствования: “Наводить порядок в своих мыслях не надо никогда; достаточно, и самое большое, что мы можем сделать, это еще и еще видеть, слышать, обращать внимание, замечать”».

— Получим мы, в статье Д.Устименко, и интересную оптику для взгляда на упоминавшиеся имена Достоевского и Фрейда: «Онтологическая трансформация возможна для человека не через силу, а через смирение и веру. Аналитика преодоления себя в себе, проблема внутреннего “выхода в простор”, к смирению, как ни парадоксально, связываются В.В.Бибихиным с темой жизненного риска, бросания себя, поступка и попутно с критикой рационализма. Под эту критику подпадают даже такие “иррационалисты”, как Достоевский и Фрейд, завершающие возвратом в правильность. Но здесь другое: речь идет о важности страдания, говорится об отчаянии как о “единственном”, что “не гонит и разжижает веру”».

— Более фундированно станет возможным после прочтения этого журнала — четырехста страниц глубоких и разных текстов на высоком уровне, тут очень в пору вспомнить такое несколько архаичное и панибратское наименование выпусков толстых журналов, как «книжка» — о теме сна. Сон, по Бибихину, вообще не следует анализировать. Как трактует всё та же Е.Хан, «если следовать логике Бибихина, даже самая благожелательная психоаналитическая онейрокритика оборачивается для человека риском впасть в новое измерение борьбы с химерами. Оттого не позволяя себе нарушать интимность увиденного, философ, напротив, есть тот, кто не толкует сны, но приглашает избавиться от толкований. Философия отказывается от дешифровки, чтобы спасти саму мечту, сам сон как событие, которое было опытом захваченности; наряду с трансом, увлечением, отрешенностью сон исполнен правды»⁹.

Впрочем, специальный выпуск «Философии» — а собственно Бибахину здесь посвящено 150 страниц, но и этого вполне достаточно для развертывания мысли в сулящую как минимум интересные наблюдения сторону — говорит, разумеется, и на многие темы, которых мы не коснулись на паре страничек, посвященных «Отдельным записям...» Бибахина. Трудно не согласиться с Анастасией Мерзениной, когда ей «представляется, что политическое событие Бибахина являет собой герменевтический синтез неслиянных онтического и онтологического планов времени, что непосредственно влечет за собой примирение революционного и консервативно-правового потенциалов человека в понятии веры» — это может многое объяснить в вопросе бибахинских политических взглядов, так же «вызывавших вопросы» из-за непосредственного соседства в оных и «либеральных», и вполне «консервативных» посылов. «Бибахин убежден: всякая политика неподлинна, однако человек не в силах до конца отказаться от нее; этика неизбежна, но это не значит, что нам нужно и что мы сможем ее упразднить». Тут, уже от себя, хочется добавить: всякая политика неподлинна, потому что человек не может отказаться от нее, освободиться хотя бы от необходимости самоопределения¹⁰ (снова тема самопознания у нас), что опять же стало буквально и практически болезненным вопросом в наши дни — каждому грозит обструкция («отмена», если в актуальных терминах) не только за политическую принадлежность, но и за сам отказ публично «определиться»... В такой ситуации остается только, по знаковому эссе Эрнста Юнгера, «уход в Лес». Об определении Леса — «лес понимается В.Бибахиним чрезвычайно широко, под этим словом объединяются как определенные вещества, так и состояния» — рассуждает Дарья Ефимова. Она крайне близко подходит к юнгеровской мысли (но, к сожалению, непосредственно ее не именует и не разбирает), когда фиксирует следующие положения: «Интоксикация¹¹ высвечивает след леса в нашей психике, неопределенный лес — в нас. Состояние захваченности дает понять, как человек может быть слит с миром, как он может быть без ориентиров, нормы и объектов исследования, в неоформленном. Этот опыт показывает, что материя, подобно деревянной заброшенной кровати, из которой проросло дерево, способна забывать форму, отклоняясь тем самым от цели или меняя ее. Интоксикация возвращает нас к материи, которую нельзя упорядочить, но которая сама приводит все в свой собственный порядок». Тут сам собой напрашивается переход как минимум к двум работам Юнгера: к посвященной именно проблеме различных интоксикаций «Приближения. Метафизика опьянения» и к собственно генеральному эссе «Уход в Лес», где Лес так же — не топоним, не состояние, но положение, позиция (да даже поза! Рыцари и джентльмены в наши дни рискуют получить обвинение в «снобизме»), когда человек возвращает себе право на выбор, на самостоятельное, а не навязанное извне обществами с их идеологиями определение своего положения, становится опять-обратно индивидом.

Другие материалы журнала, уже не посвященные Бибахину, отнюдь не менее интересны — вообще, перед нами редкий случай, когда в журнале нет ни одного проходного материала! Скажем, публикация перевода работы Ханса Блюменберга «Отношение природы и техники как философская проблема» вернет нас к ракурсам видения техне у Хайдеггера, без которого здесь — и сейчас — никуда. И даже рецензионный блок будет о книгах уже совсем современных важных мыслителей — В.Варавы и В.Кантора — и будет, через них, манифестировать глубинные смыслы.

От глубинных смыслов и тем никуда не деться. Вечные, они и есть актуальные. И надо еще и еще раз отдать должное «Философии» — журнал очень своевременно работает с «актуальной повесткой», не уходит (а уж философия дает столько даже формальных оснований для подобного эскапизма, никто и не осудит!) в заоблачное вневременное теоретизирование. Хотя, конечно, соблюдает определенную осторожность — да, тут камень первым и никаким не бросишь. Например, Александр Марков в своей статье крайне тактичен, скажем так, в терминологии,

что видно уже из названия «Современная русская поэзия в период интенсивных событий». Кроме выдающегося термина «интенсивные события», будут и иные — два вида поэзии, двух понятных (и даже не нуждающихся в определениях — ведь каждый определяет их для себя сам, в силу собственных политических взглядов, степени терпимости и склонности к обценной лексике) лагерей получают следующие дефиниции: «Можно было бы назвать эти два вида условно “донбасской поэзией” (имея в виду всех авторов, которые связывают с военными и гражданскими успехами русского Донбасса будущее устойчивое развитие России) и “демократической поэзией” (всех авторов, для которых устойчивое развитие России требует приоритета уже согласованных институтов и правил)». Читая подобное, всегда думаешь о том, о чем уже говорилось: попытка стоять над политикой, над требованиями «определиться» и «высказаться» удавалась, возможно, лишь исполинам вроде Юнгера, в иных же случаях чревата тем, что самому уже хочется впасть в пагубное и призвать «определиться» и «высказаться»...

Кто-то же, что тоже очень понятно, предпочитает говорить через других, имплицитно высказываться путем солидаризации с чужим мнением. И вследствие этого посреди размышлений об экзистенциальной философии и логике абсурда в христианстве (С. 210), у Киркегора и Делёза, мы встречаем опять же, как и у Маркова, статью с научным подходом «Понятие “руссофобия” у русских авторов XIX—XX веков». В ней же мы можем прочесть не только отрывок из «письма Ф.М.Достоевского к А.Н.Майкову от 16/28 августа 1867 г., где Достоевский делился впечатлениями от встречи с Тургеневым в Баден-Бадене» (Тургенев, напомним, был в нынешних — да и тогдашних, да и, получается, вечных — терминах либерал): «...Все эти либералишки и прогрессисты, преимущественно школы еще Белинского, ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться (преимущественно провалиться!). Эти же, отпрыски Белинского, прибавляют, что они любят Россию». Но и пассажи из «Дневника писателя»: «Эмигрировали из России, — говорилось здесь, — [...] более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, “что в России таким порядочным и умным, как они, людям нечего делать”, другие уже просто ненавидя ее безо всяких убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобожденного мужика, за русскую историю, одним словом, за всё, за всё ненавидя». Все эти отрывки известны, вспомнятся еще не раз и столько же раз могут и будут оспорены. Любопытнее и — решусь на оценочность — справедливее вот такое свидетельство: «В 1876 г. во Львове была создана Конфедерация польского народа — заговорщическая организация, имевшая целью поднять вооруженное восстание в русской части Польши при начале Русско-турецкой войны. Батлер-Джонстон выступал в качестве английского эмиссара с неясными полномочиями (см.: Gawroński, 1919). Пытаясь устроить военную диверсию на тылах Российской империи, он руководствовался холодным внешнеполитическим расчетом, не испытывая ни особой любви к полякам, которых он склонял к явно безнадежному кровопролитию и с которыми постоянно конфликтовал на денежной почве, ни вражды к русским».

Различные подходы к происходящему сейчас в нашей стране, на ее границах и в мире заставляют вспомнить о подходе к политическому и актуальному у Библихина. Признать его скорее правоту. На том и закончим.

Духи Бердяева и главные ответы

Георгий ГАЧЕВ. Русская Дума: Портреты русских мыслителей. — М.: Академический проект; Трикста, 2022. 762 с.

Интересна уже история создания этой книги, возникшей — из живописи. Художник Юрий Селивѣрстов создавал портреты русских философов, мыслителей, писателей. Затем захотел сопроводить их краткими эссе, представляющими изображенных. Георгию Гачеву, другу художника, показалось интересным, как сейчас бы сказали, challenge, вызовом осмыслить, сформулировать их суть. Так появилась книга, вышедшая впервые в 1991. Не менее интересна и история этого расширенного издания. Анастасия Гачева, составительница книги, дочь Георгия Гачева и Светланы Семёновой, пишет: «По свидетельству В.Н.Ганичева, Ю.И.Селивѣрстов предполагал продолжить свой свод “Русской Думы”, с одной стороны, укореняя его в прошедшем, идя “в глубь веков”, а с другой — выводя в наши дни, и собирался дополнить книгу портретами и текстами Леонова, Шолохова, Солженицына, Распутина, Свиридова, Астафьева. Примечательно, что и Гачев в последние годы жизни задумывал расширить корпус своих жизненных мыслей о русских мыслителях, введя в него современные фигуры — того же Солженицына или Александра Панарина, — и даже сделал наброски о последнем с характерным названием: “А.С.Панарин — глава в “Русскую Думу”». Предпринимая новое издание “Русской Думы”, мы попытались реконструировать этот замысел, выделив в книге третью часть. В нее вошли этюды и фрагменты, посвященные современникам Георгия Гачева — Вадиму Кожинову, Александру Солженицыну, Александру Панарину и самому Юрию Селивѣрстову, собеседнику, сотворцу, совопроснику». Это понятно, но компоновка дальнейших разделов даже еще интереснее. Когда Гачев писал о всех этих деятелях русской мысли, он хотел осмыслить ее в целом, подойти к, вывести общий контур глобальной мысли нашей страны. Посему включены и статьи, посвященные этому вопросу. «Размышление о деятелях Русской Думы сплеталось у Г.Д.Гачева с саморефлексией» — будет в книге и автобиографический (в форме интервью) рассказ Гачева о принципах построения, существования собственного философствования. И, более того, поскольку все обсуждаемые на страницах этой большой книги философы — мужского пола, в томе представлена и работа (эссе? дневник? сплав всего и свободные размышления, скорее всего) Гачева о жене — Светлане Семёновой. Чтобы сразу представить манеру гачевского письма, первой дадим цитату из этой вещи: «1 ч. 10. Победил, надыхал, намылел: Да и само тело-статья-облик Светланы — андрогиния. В ней сопряглись в ее фигуре — Афродита и Серафим Саровский. Снизу, из волн земли, вздымается богиня: ноги “кинг-сайз”, высокие, крутые и плавные, широкие бедра и нежно-округлое лоно, потом — талия впол-бедер».

Именно таково мышление Гачева. Не просто протекающее, как у Библихина, в частном, приватном режиме дневников для себя. Частность и независимость тут обусловлена биографическим (после изгнания из официальной печати Гачев решил писать для себя, свободный во всем, ничем не ограниченный, он потом и благодарил за это запретителей¹²), они — возведены в принцип. «...Именно экзистенциально у меня течет мышление, как вплетенное в жизнь мою, которая не отмысливается при этом: познающий включен в процесс мышления, что и делаю я в “жизне-мысли” и “привлеченном мышлении”». И даже: «Ну и в писаниях своих — мне не интересно доводить до конца и формы, а увлекателен сам процесс — открывать, нападать на идею-мысль, пожить с нею — и бросить, перейти к новой». И это, конечно, никакое не отсутствие самодисциплины — Гачев каждое утро садился за тетрадь, потом за печатную машинку, — а тоже возведенная в принцип свобода мысли. Свобода

от финальных выводов. Признание, что мысль — огромна, печать финальных формулировок ее только сузит.

Мышление в этой книге течет вокруг столпов русской мысли. От Пушкина и Толстого¹³ до Пришвина и Бахтина. В том добавлении, о принципах которого говорила А.Гачева, от Чехова и Шостаковича до Солженицына и Панарина.

По сути, Селивёрстов и Гачев создают настоящий синклит русской мысли — примерно так, как это делал и Даниил Андреев в «Розе Мира».

(А в текстах, данных в пандан, погибший в 2008 году Георгий Гачев доходит и до самых наших современников. Обсуждая публикацию в «Знамени» «Чапаева и пустоты» Пелевина или — кто помнит ее сейчас? А так гремела. Так быстро все проходит... — Ирину Денежкину. Хотя, конечно, больше о Лосеве, Хоружем, Аверинцеве, том же круге, с которым соотносился и Бибихин. Если же из персонажей Достоевского ему аналог подыскивать и коли Бердяев — Ставрогин, то Булгаков будет — Шатов (по верной интуиции Ирины Роднянской в ее статье о Булгакове в «Литературной газете» от 27 сентября 1989 года). Будет, конечно, много и совсем биографического — о походах на лыжах или на поминки, поездках в город, в редакции или в Троице-Сергиеву Лавру на могилу Леонтьева и Розанова, «мистика в мещанстве»).

О том, как Гачев формулирует эти фигуры, можно говорить по-разному. Передавая его мысль — это, видимо, сложно, нужно много цитировать, не пересказывать же своими словами то, что живет не только в мысли, но и в форме, стиле, синтаксисе буквально. Можно попробовать передать через сами формулировки, послы. Пушкин — «мифотворец, населил наш Олимп». Достоевский — «копнул поглубже — в сторону, где уже не “добро” и “зло”, а “святость” и “грех”». Аксаков — первый организатор (сочетал письмо и практическую работу¹⁴), Блок — первый интеллигент.

Можно вообще, как в короткой рецензии, где читателя нужно «зацепить» ярким, оригинальным, передать оценки Гачева через его яркие — а тут далеко ходить не надо, почти на каждой странице — формулировки. Пришвин — «леший русского Логоса». Или факты с их трактовками — почему, например, Бердяев любил духи¹⁵, и что объясняют особенности расстановки им знаков препинания или же бессонница Тютчева. Или вот более развернутая, но не менее хлесткая формулировка феномена Солженицына: «Патриот России, он, громя Коммунизм и СССР, нанес сокрушительные удары и по самой России, полагая, что эта власть — наносная, а она во многом и естественное продолжение России и духу народа со-отвечала».

Выстраивает, разумеется, Гачев и связи, вычленив общие векторы, пути развития русской мысли, куда уж без этого, не только же ради радости подумать о Флоренском, Лосеве или Окуджаве затевались все эти очерки (заметки по несколько страниц, но это в начале, потом были настоящие развернутые эссе-статьи). Хотя радость самая настоящая: «Ну, про Есенина у меня как раз есть свежая медитация — и ее я дал в Приложение к Первой части. А вот Бердяев, Франк, Булгаков, Лосев — какие фигуры вдохновляющие! Какой шанс — ими заняться и вытащить себя из жутко жгущей злобы дня, хоть на время, в эмпирей Духа и там подышать небом и вольным воздухом, горным и горным, умозрения и так подпитать в себе Психею, Ум и Дух, да и здоровье даже. Ибо успокаивают, умиротворяют медитации философов, равновесие и возвышенность духа в тебе устанавливают».

Итак, Пушкин дал, глобально, то, о чем вообще можно говорить. Чаадаев породил самосознание (интеллигентское, западное, самостоятельное, со всеми его плюсами и — о биографическом тут пишет Гачев, не очень достойном поведении, как при обысках сдавал себя и корреспондентку Чаадаев — минусами). Пушкин дал светлое, аполлоническое, Тютчев — темное, ночное, отчасти дионисийское. Фёдоров же в чем-то — или не в чем-то, а в главном самом — продолжил мысль Достоевского, ее искания за гранью жизни, в посмертном смысле, спасительной и всеобъясняющей логике: «Но это как раз героизирующий лозунг доселешнего, подросткового состояния

мира и понятий людей. И что это за “смелость” — убогая: смелость уничтожения? Давайте выберем иную смелость — творчества! Если нам, человекам, для усиления энергии деятельности так уж обязательно нужен образ Врага (враг личный вызывает прилив сил у меня; “враг народа” — у трудящихся масс, дабы сплотились теснее вокруг...; “вражеское окружение” — чтобы стимулировать патриотизм и обороноспособность...), так какой же Враг превыше и всех нас объединяющее? — Смерть, царящая в Природе».

В качестве цитаты данный отрывок и совсем не нужен, казалось бы. Поясняет негативное изображение революционеров, как социальных, так и экзистенциальных (Раскольников) у Достоевского, намекает, что может быть бытийной альтернативой — покаяние, метанойя, посмертное. Или же делание при жизни — фёдоровская борьба со смертностью, воскрешение отцов. Понятно и известно как бы. Но! Здесь два очень важных момента, как опять же сказали бы в современной журналистике (как же вьелся ее язык!), «почему вы должны прочесть эту книгу». Во-первых, это выход на современность, на те процессы и события, что протекают, рождаются, громяются у нас сейчас. Во-вторых, выход и уход дальше — в то метафизическое, где одно и можно найти ответ на главный вопрос «что делать» («кто виноват» — вопрос детский, с саморазвитием индивид не может не понять, что лишь он один и виноват, он же и должен делать).

Даже не брать если антиамериканские пассажи у Гачева, обличающие стремление отдаленного от угроз непосредственного театра военных действий континента ко всемирной гегемонии, выходы на современность обнаруживаются сами собой, аналогии никто не рисует, они бросаются в глаза. «Итак, в Крымской войне Европа объединилась против России — и Данилевский начинает с вопроса: “Европа ли Россия?” Есть ли она элемент в системе держав Европы (кем доселе в основном она выступала, пригибаясь до меры Пруссии иль Франции), иль она равномошна всей Европе в целом, как ей противовес и баланс? Да, Россия самобытна, и у нее особый интерес». Весьма напоминает, как Европа в очередной раз объединилась против России, а мы все думаем — или не думаем, не до того уже — как нам выстраивать отношения с нашими «европейскими партнерами», западники ли мы, патриоты ли, кто те, кто другие и кого из них бить первым. «Два великих вопроса завещано нам от Девятнадцатого века русской культуры: КТО ВИНОВАТ? и ЧТО ДЕЛАТЬ? И сегодняшние наши проблемы как-то сами собой лезут в жерла этих вопросов: ищем — кто виноват? Суды-счеты между собой затеваем, меж эпохами распри. И тут же лихорадочно суетимся, пытаемся что-то делать. Но ведь не понимаем ничего толком. И так у нас деланье рук намного опережало понятие ума. И сейчас, по-моему бы: не судиться и не делать, а замереть и задуматься: КАК ПОНИМАТЬ? — вот вопрос “текущего момента”». Так и есть. Ибо поиск, выуживание аналогий — вещь, конечно, яркая и интересная, но в пределе не столь уж и благодарное это занятие.

Интереснее генеральный ответ, что должно делать, и он тоже есть. Та же идея, что звучала в связи с Фёдоровым, борьба со смертью. Чем это не ответ, не цель? Ведь это очевидно, даже я и даже в интервью каких-то говорил об этом простом, но недоступном нынешнему человечеству в плане целеполагания смысле. Хорошо, не отказаться полностью, но перенаправить большую часть бюджетов того же ВПК на науку и медицину, если не найти, то хотя бы увлечь мир этой идеей — то не победить смерть, но хотя бы существенно и сущностно отодвинуть ее. Просто если взяться за это с тем же энтузиазмом и драйвом, с которым каждый год ищется новый дизайн для новой модели машины, для нового iPhone’а, для новых схем привлечения инвестирования, обогащения или просто мошеннических схем... С огромным финансированием, а если еще и общим устремлением, можно было бы достичь так многого... Что же касается, например, армии, то у Гачева есть конкретное предложение на данный счет: вместо срочной службы направить призывников на поля, в природу,

на встречу к ней¹⁶. «Но так как по традиции к призыву в армию относятся в нашем народе как к святыне, то пусть призывают, но приводят не в стройбаты, а на землю. Вот тебе 2—5 га на 2—3 года, можешь жениться и семью тут сели. Пожив, многие полюбят осмысленный труд на природе на себя и продолжат уж крестьянствовать. А то ведь горожане, не нюхав природы, не знают, как это может быть хорошо. Надо просто привести в соприкосновение — а там и “сама пойдет!..” — у многих... Пусть вместо пороху понюхают росу и сенокос».

Есть у Гачева и более глобальные, и более конкретные ответы на «что делать». И здесь даже я, всячески и глубоко уважая интеллект, познания и свободу мысли философа, не отдал бы ему дань первородства и оригинальности в этих посылах. Ведь это же так очевидно, столько раз говорилось! А воз, везущий в никуда, все там же... Если остановиться, задуматься чуть человечеству, чуть свернуть с экономического-материального пути, беспутья в ту сторону, которая сулит смысл, настоящее наполнение жизни. «Симптом такого поворота в душах наших — возрождение религиозного интереса — и как раз у людей из передовых стран — духовная жажда, нищета духом, а не материей. Но это значит — приостановить сверхпроизводство, мучающее и Природу Земли, побуждающее и человека тратить время смертной краткой жизни на производство и консумацию, в сущности, и не нужных многих вещей, но установить некую аскезу на низовом, материальном, экономическом уровне¹⁷, зато высвободить время — не на превращение в деньги, а на существенные ценности: жизнь, любовь, воспитание детей, культура, самосовершенствование. Запущенные дух и душу развивать, что забиты наглыми ре-КЛАМ-ами = выкриками вещного мира. <...> Религия и философия вообще экономичны: устремляя интерес и ценности из дурной бесконечности вещей в сторону души, внутрь себя и в бесконечное богатство Духа и Культуры и душевно-эмоциональной жизни, — они позволяют человеку, имея мало, чувствовать себя счастливым. Так что — сокращать потребности! — таков вектор века грядущего (так чую), в отличие от установки на максимальное развитие потребностей, которую выдвигал Маркс и осуществляет Американизм, что занят изобретением все новых потребностей, т.е. нужд, то есть зависимостей человека: что еще навязывают тебе на ярмарке, где взывают рекламой: возьми меня!.. Тогда, мол, расширяется еще новое производство и ЗАНЯТОСТЬ = бизнес! Будто человеку нечем более и лучше заняться, чем роботом у конвейера или компьютера просиживать, превращая время своего живота — в деньги, чтобы опять покупать излишнее... Итак, наша “отсталость” в материальном и “застой” в экономике (когда, напротив, рывок в науке, в искусстве “золотой век” был, да и в качестве жизни — покой и рождаемость, увеличение любви и мира в душах) — по такту развития совпадают с тем, к чему приходит мировая цивилизация в XXI веке. Потерпели бы чуть — и в такт с музыкой Истории бы взошли, умеренно развиваясь, починяя что прагматически и улущая».

Закончу на этой большой цитате, потому что добавить нечего. Да и говорить все равно бесполезно...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Чанцев А. Иные маршруты звездолёта Земля // Дружба народов. 2022. № 6 (<https://magazines.gorky.media/druzhiba/2022/6/innye-marshruty-zvezdolyota-zemlya.html?>).

² От дисциплины ума, чистоты жанра в чистый поток сознания.

³ «Если бы историки и гносеологи воспитывались по Достоевскому, они бы на место закона достаточного основания выставили бы закон полной бессознательности. В романе Достоевского ничто ничем не определяется. В них царствует тертуллиановская “логика” или логика сновидений...» Шестов Л. На весах Иова. — М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 79. Вообще, интересно вспомнить вектор критики Достоевского у Шестова, ее вектор вызывает живые мысли.

⁴ Первый выходил в 2021 году (Том 5, № 1).

⁵ Именно с этой мыслью можно бы поспорить хотя бы в том плане, что не очень понятно, что такое хайдеггерианец, есть ли они в чистом виде (или, скажем, скорее апеллирующие к определенному блоку концептов Хайдеггера).

⁶ При всех, уже не раз обсуждавшихся, вопросах к особенностям бибихинского перевода.

⁷ «Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держится теория их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы *jugare in verda magistri*, но вместе с тем глубже постигли бы затаенную, детско-гениальную личность этих учителей». *Флоренский П.* Детям моим // Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых лет. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. — М.: Московский рабочий, 1992. С. 51.

⁸ В лекционном курсе/книге «Дневники Льва Толстого» эти темы даже объединяются: «В предыдущей записи говорилось о нераздельности мысли, чувства, дела. Здесь чувство и есть дело, драма чувства названа работой. Предлагаю вам здесь наблюдение или, вернее, напоминаю вам, что вы наблюдали, глядя на спящего ребенка. У него собранный вид, по лицу видно, что идет работа. Ее материалом может быть только сновидение, т.е. фантастическая реальность, нереальность, но работа идет серьезная реальная». *Бибихин В.* Дневники Льва Толстого. Изд. 2-е, испр. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. С. 69. Работа со связкой сон-детство характерно и для творческого метода Г.Айги.

⁹ Что отчасти напоминает интерпретацию сна как параллельной реальности В.Рудневым.

¹⁰ У Бибихина в тех же рассуждениях об интимных записях Толстого об этом так: «Толпа, в которой ломаются крылья, конкретизируется в правительстве, которое тоже становится уже навсегда уже (Так у Бибихина. — А. Ч.) темой. Помните: когда говорится *правительство*, имеется в виду тяжесть, которая ломает крылья и не дает летать». Там же. С. 245.

¹¹ Позволю себе обратить внимание на высказывание из совершенно (ли?) иного поля, но со схожей смысловой доминантой, выраженной лозунгово-зонгово — песне “Gold In The Dark” Cat Pierce.

I need intoxication
Living and dying fast
Beyond all human reason
Beneath the creeping doubt
I feel a change in season
Where we will all find out
That the gold is in the dark

¹² От них Гачев уходит буквально в юнгеровский Лес — в Переделкино, на свой участок, оттуда на лыжах еще дальше и еще глубже в природу. «Ну взял вчера свое — лыжи: 5 часов гонял — один, правда: Виктор Визгин, компаньон мой многолетний, переехал из нашего района. Ну что ж: я со снегом, полями, лесами, с напеванием музыки. Хорошо помучил тело свое — засидевшееся. По возвращении — Тойнби читал дальше: обрыдло все себя да себя читать. Понял, что у меня тоже был ВЫЗОВ: натиск Социума, советчины, невыносимые условия для вольного Духа: гибает на компромисс и гадит душу человека и не подпускает к жизни по существу. И вот — мой ОТВЕТ: я ухожу от вас: с рынка печати и лизоблюдства ваших подачек — и вот я в семье, в деревне, натуральном хозяйстве — и писании, ЧИСТОписании — в себя. Эмигрировал — и сам себе создал Новый свет и остров жизни по существу — свою утопию и оазис».

¹³ О Толстом в совокупности, в тех и этих местах книги, столько размышлений, что это выстроилось бы в очень интересный диалог с книгой Бибихина о Толстом. Одна из тем для будущих статей, которые возникают тут буквально по ходу.

¹⁴ В таком японском духе «бумбу-рёдо», буквально — «путь кисти для письма и боевых искусств», шире — сочетание работы письма и тела, духовного и материального.

¹⁵ Кажется, в среде серебряновечных религиозных философов вполне можно было бы учредить клуб любителей духов. «С детства запахи были для меня выражением глубочайшей сущности вещей, и я всегда ощущал, что через запах я сливаюсь с самой сутью вещей. Цветы, эфирные масла и в особенности благовонные смолы воспринимались мной как непосредственные

прорывы в этом мире и проходы в иной. С самых ранних пор я пристрастился к парфюмерии. <...> Потом стал изготавливать курительные свечи, душистую бумагу, одеколон и духи (о доброхотности их уже не берусь судить, но взрослые от моих духов морщились, да и мне, по правде сказать, они нравились только во время приготовления», вспоминает Флоренский, дальше детально перечисляя названия духов мамы и тети. *Флоренский П.* Там же. С. 73. Размышления о связи духов и духовного, открытости к восприятию эфемерного и надмирного и т.п. — тема крайне интересная, даже не истоптанная и избитая, как столбовая дорога, но для случая иного.

¹⁶ Георгий Победоносец, один из самых почитаемых в православии святых великомучеников, как известно, был землепаш и воин, принесший славную победу над злом материальным и духовным.

¹⁷ Отказ от материального, всеобъемлющие аскетические практики в данном случае — ключевой и, приходится констатировать, очень давно декларируемый агент чаемых преобразований. «Обновляющаяся планета обретает качества той планеты, что находится на более высоком уровне, а тела ее жителей становятся менее материальными. При этом чем ниже уровень развития планеты, тем большими катастрофами сопровождается “локальный” апокалипсис» (*Маклакова А.* Завет духов: эсхатологический спиритуализм в России рубежа XIX—XX вв. // *Новое литературное обозрение.* 2023. № 2. С. 117). Хотя почему локальный, сейчас и глокальные и глобальные имеются...

Евгений Абдуллаев

«Шатры белеют за рекой...»

Уточню: рекою была Исеть, а в белых шатрах три дня торговали книгами, встречались с писателями и просто — встречались.

Кто: Дмитрий Воденников, Денис Драгунский, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Майя Кучерская, Анна Матвеева, Марина Москвина, Лев Рубинштейн, Роман Сенчин и многие другие.

Где: в Екатеринбурге, на впервые проводимом книжном фестивале «Красная строка».

Когда — в последние летние дни, с 25 по 27 августа.

Дни были, скорее, уже осенними. Два дня шатры мыло дождем. В воскресенье к обеду распогодилось.

«Книжная ярмарка обязательно должна немного помокнуть», как философски заметил ее куратор, Михаил Фаустов.

Публику осадки не останавливали, шатры не пустовали. Почти все заметные российские издательства были здесь. Московские, питерские, екатеринбургские и прочая и прочая.

Были и сами издатели.

Елена Шубина рассказала о новинках и планах «РЕШ». Анастасия Шевченко («Альпина-проза») представляла своих авторов. Рассказывали о своих издательствах Елена Иванова (Издательский дом ВШЭ), Алексей Подчиненов (издательство УрФУ). И другие.

Из толстых журналов участвовал местный «Урал», что логично. На одном из прилавков увидел пару номеров «Знамени». Других примет присутствия «толстяков», увы, не заметил. Печально, но объяснимо.

Мощная волна российских *литературных* фестивалей, возникшая в нулевые, почти угасла.

Из «старых» (если говорить о наиболее известных) держится пока только Волошинский, из более «молодых» — Горьковский в Нижнем Новгороде и «Белое пятно» в Новосибирске...

Напротив, волна *книжных* фестивалей всё больше набирает силу. Достаточно взглянуть на список того, что запланировано на этот год¹.

И в этом есть своя логика.

¹ Литературные ярмарки 2023 года. За чем следить читающему человеку в 2023 году? Список фестивалей, ярмарок, выставок и литературных съездов // Сайт «Год литературы». 21 февраля 2023 г. (URL: <https://godliteratury.ru/articles/2023/02/21/literaturnye-iamarki-2023-goda/>). Там, правда, не только российские ярмарки-фестивали, но — тем не менее. Впечатляет.

Литературные фестивали — мероприятия некоммерческие и никакой материальной отдачи не сулящие. Напротив, книжные фестивали — это, по сути, книжные ярмарки. Почему их называют «фестивалями», не совсем понятно. Возможно, «ярмарка» ассоциируется с чем-то более масштабным, вроде московского «Нон-Фикшна», петербургского «Книжного салона» или красноярского «КРЯККА».

Литературные фестивали были, чаще всего, авторскими проектами самих же литераторов. «Биеннале поэтов в Москве» — Евгения Бунимовича, «Киевские лавры» — Александра Кабанова, Волошинский фестиваль — Андрея Коровина, «Литературрентген» — Василия Чепелева и Елены Сунцовой... Находились какие-то гранты, кто-то из местных меценатов соглашался помочь. К концу 2010-х пространство для подобных инициатив ужалось до предела. И «свободных» средств в частном бизнесе становится меньше, и склонности к меценатству тоже.

Наступает время книжных фестивалей.

Их, как правило, организуют не литераторы, а люди из книжного бизнеса. Такие, например, как замечательный Михаил Фаустов, куратор нынешнего фестиваля, и еще как минимум трех-четырех. Это не стоит понимать в смысле «литература vs. бизнес». Что, вот, на смену литераторам пришли менеджеры. Нет. Скажем, Фаустов — еще и литературный обозреватель, хотя в этом качестве выступает реже. И, уверен, вполне мог бы стать литератором (кабы захотел).

И всё же различие между литературными и книжными фестивалями есть. Первые — встречи читателя с *автором*. (Или — что случалось чаще — авторов друг с другом). Вторые — встреча читателя с *книгой*.

Литераторов на книжные фестивали тоже охотно зовут, часто даже большим числом, чем на фестивали литературные. Но прежде всего — как говорящее дополнение к своей свежезданной и продающейся по соседству книге (одной или несколькими). Как инструмент ее реализации. Чтобы ее презентовать, украшать автографами; иногда даже продавать¹.

«Смерть автора»?

Нет, но определенная «перезагрузка» фигуры автора — однозначно.

С другой стороны, издатели серьезной литературы нуждаются в поддержке не меньше, чем авторы. Дело это сегодня коммерчески не слишком выгодное, а порой и убыточное. И здесь книжные фестивали могут стать — уже становятся — важным инструментом поддержки такого книгоиздания. Которое большей частью сосредоточено в Москве и до регионов не всегда (в виде своей продукции) доходит.

Но вернусь к екатеринбургскому действу.

Возникло оно как проект известного музыкального фестиваля Ural Music Night, проводимого с 2015 года. Если конкретнее, идея принадлежала создателю и генеральному продюсеру Ural Music Night Евгению Горенбургу. Неудивительно, что в книжном фестивале приняли участие и музыкальные группы. Над Исетью и белеющими за ней шатрами периодически разносилась живая музыка.

Изначально фестиваль планировался с большим размахом. Впервые рассказав о нем в сентябре прошлого года, Горенбург добавил: «Надеюсь, мы будем его проводить совместно с китайской стороной и с участием 15–20 дружественных государств: Сербия, Венгрия, Индия и так далее»².

¹ Такой опыт у меня был на «Нон-фикшн» года четыре назад, когда несколько писателей сменяли друг друга за прилавком в палатке издательства «Эксмо». Наторговал, помнится, не много. Но было интересно.

² Ямицкова В. Евгений Горенбург и его китайские партнеры проведут первую в Екатеринбурге международную книжную ярмарку // Сайт «66.ru». 12 сентября 2022 г. (URL: <https://66.ru/news/freetime/255904/>)

«Китайская сторона», видимо, на какой-то стадии отпала (впрочем, в одной палатке что-то рассказывали о Китае и угощали чаем). «Дружественных государств» тоже почти не наблюдалось. Но тут, понятно, не вина организаторов, а особенности переживаемого периода.

Интересной была встреча с Борутом Крашевецом, словенским переводчиком русской литературы, в диапазоне от Толстого и Достоевского — до Маканина и Пелевина. О том, как устроена система организации труда литературного переводчика в Словении. Как любители русской литературы переживают нынешние времена, для ее популяризации не самые благоприятные.

Тема сложная — с подобными вызовами русская словесность не сталкивалась даже во времена железного занавеса. В Европе и США были достаточно активные леворадикальные, либо просто сочувствующие Советам круги, активно ею интересовавшиеся. Не говоря уже о публикации запрещенных или полузапрещенных советских авторов. С «Доктора Живаго» — и далее без остановок.

Сегодня ситуация иная. Не то чтобы все интересующиеся русской литературой повально вымерли или же перестали ею интересоваться. Но тон задают не они. При этом даже позиция автора — важнейший маркер в годы «железного занавеса» — перестает приниматься во внимание. Главное — что он/она пишет на русском.

Отсюда недавний инцидент на литературном фестивале в Тарту, когда из-за протеста двух украинских участниц было отменено выступление Ленор Горалик.

Или другой случай, о котором рассказал Борут Крашевец: планировавшийся перевод на словенский романа Марии Степановой «Памяти памяти» был отложен. Да, после февраля 2022 года. Просто потому что на русском.

Что ж, *a la guette comme a la guette*. Только как быть в этой ситуации современной русской литературе, не совсем понятно.

Осваивать азиатские просторы? Скажем, индийский и китайский рынки растут, и читатель там довольно активный. И к Латинской Америке стоило бы приглядеться. Вот только ждут ли на этих просторах русских авторов? Насколько могу судить, там вполне хватает своих «донов педро». Должно быть продвижение русской литературы, осмысленная стратегия ее культурного экспорта. Но какой она должна быть, сказать затрудняюсь. Дайте подумать.

Можно, конечно, заморачиваться и рассчитывать исключительно на внутренний рынок; Россия страна не маленькая. Но вот количество читателей в ней, увы, сокращается. Читателей серьезной современной литературы. Приходит поколение, которое мыслит картинками, а не буквами. А с наступлением нейросетевой эры ситуация, думаю, изменится еще сильнее. Опять же, не в пользу больших книг «о главном».

Нужно снова аккуратно прорубать окно в Европу. Пока окончательно не опустился железный занавес, на этот раз — с той стороны.

Но заканчивать тревожным минором не хотелось бы. Да и событие, о котором пишу, «Красная строка», дает больше оснований для оптимизма.

С неизбежными в таком деле издержками и потерями, но книжный фестиваль реализовался. С точки зрения организации и контента — почти безупречно.

Это и возможность оглядеть, полистать и приобрести книжные новинки, и встретиться с авторами, послушать музыкантов и посмотреть мини-спектакли, принять участие в мастер-классах по каллиграфии, книжному дизайну и... загибать пальцы можно долго. И просто полюбоваться Екатеринбургом.

Четвертый по числу жителей город-миллионник уверенно оспаривает у Питера статус второй литературной столицы. Есть свои яркие литературные имена: Беляков, Джаббарова, Казарин, Матвеева, Пулинович, Сальников, Сенчин, Симонова... Есть свой, не уступающий столичным, толстый журнал «Урал». Есть своя значимая литературная премия, «Неистовый Виссарион».

Теперь появился свой крупный книжный фестиваль.

Литературная жизнь перестраивается. Ищет новые пути, новые пространства, новые возможности добраться до своего читателя.

И зачастую ей это удается.

Борис Минаев

Испытание на верность

...Окончательно я полюбил оперу во время ковида.

Любил, конечно, и раньше. Покупал записи, пытался попасть на оперные спектакли везде, где появлялась такая возможность: в Берлине и Вене, Праге и Нью-Йорке, Петербурге и Москве.

И все-таки это была любовь... немного платоническая, так сказать. Без страсти и без взаимности.

Ковид изменил все. Лучшие оперные театры (ну, скажем, нью-йоркский «Метрополитен») открыли бесплатно свои приложения, запустили целые циклы для показа тем, кто вынужденно оставался дома. Каждый вечер мы усаживались у телевизора и наслаждались то вполне традиционными, но очень глубокими и проработанными постановками Вены, то пышными костюмами и блестящими голосами Нью-Йорка, то невероятно концептуальными и изысканными режиссёрскими идеями Парижа или Женевы. Нетребко, Гаранча, Флорес, Бечала, Кауфман, Абдразаков и Хворостовский (существующий уже только вот так, виртуально) вели с нами ежедневные диалоги о вечном, поражая не только фантастическим звучанием вроде бы давно привычных нот, но и великим актёрским даром.

Когда мир сузился до размеров квартиры, по сути дела домашней вынужденной тюрьмы, — опера снова напоминала о том, что, нет, земля огромна, она оставляла лазейку, луч надежды на то, что мир снова расширится до нормальных размеров и откроется людям.

...В январе 2022 года я купил билеты на легендарный оперный фестиваль в итальянской Вероне. Это была, как говорил один литературный персонаж, «мечта идиота», то есть абсолютно непрактичная, почти недостижимая идея. Я неоднократно смотрел в интернете постановки из Вероны и хотел туда попасть. Спектакли там происходят в древнем античном амфитеатре, под открытым небом. Меня волновала сама атмосфера: звездное небо, фонарики и свечи у тысяч и тысяч зрителей, огромная аудитория на ярусах амфитеатра, которая дышит в такт каждой арии и бешено аплодирует в этом темном, насыщенном оперными страстями воздухе.

Меня волновала сама режиссёрская задача: создать декорации, которые отвечают масштабам и характеру этой гигантской сцены.

Меня волновал даже ветер, который в трансляциях колыхал платья и прически, я его ощущал буквально физически.

Но в марте 2022 года от этой идеи пришлось отказаться. Было послано письмо в службу поддержки, где мы просили вернуть деньги за билеты.

...И нам предложили перенести наш визит на следующий год.

Я не буду описывать все обстоятельства поездки, маршрут и логистику, это дело частное, но описать саму арену (Arena di Verona) и спектакль — попробую.

В каком-то смысле нам и повезло, и не повезло со спектаклем.

Постановки «Арена-ди-Верона» в принципе отличаются от обычного оперного театра тем, что зрителя здесь, грубо говоря, всегда надо поразить. Из этих плановых десяти тысяч никто не должен уйти разочарованным. Как бы далеко зритель ни сидел, в какой бы точке арены ни находился. И для этого нужны спецэффекты, нереальные, как я уже сказал, по масштабу декорации, головокружительные режиссёрские идеи, фантастические костюмы.

Но если бы мы — впервые оказавшись здесь — попали на *такой* спектакль, сама опера отошла бы на второй план.

Мне и хотелось, и не хотелось такого типичного веронского оперного аттракциона.

И таки да, это оказалась «просто опера». Красивая, но без фейерверков, золотых дождей, нависающих над головой сказочных конструкций и шагающих чудиш.

Вердиевский «Риголетто» — в постановке Антонио Альбанезе — это невероятно итальянский спектакль, об итальянском менталитете, характере, душе, привычках, образе жизни, темпераменте, отношениях в семье.

Внешний рисунок совсем непритязательный: на сцене обычная итальянская trattoria (художник — Хуан Гильермо Нова), а не роскошный «дворец герцога Мантуи», как привык оперный зритель, костюмы почти крестьянские, свита герцога напоминает мафиозную деревенскую «коммуну», где все родственники и главный закон — это верность семье, как в «Крёстном отце». Мужчины ходят с охотничьими ружьями и ножами, в высоких сапогах, а женщины должны знать свое место и не блистать нескромными нарядами.

Было бы уже совсем логично, чтобы по рядам разносился аромат горячей пищи или спагетти болоньезе. Но «Арена» слишком большая для этого...

Деревенская простота нравов, уютный мир итальянской деревни — при этом неотделим от угнетения, насилия, гендерного неравновесия, от густого запаха мужской силы и мужского превосходства.

Поэтому Джильда здесь не просто, как обычно, прекрасный невесомый ангел, образ идеальной чистоты, девушка, поющая «в церковном хоре» и мечтающая о земной любви, нет, в этом спектакле Джильда (Джулия Маццола) — это прежде всего классическая жертва. Несчастливая, нелепая, слишком мягкая и слабая для этого мужского мира, зажатая и задавленная своим сумасшедшим отцом, походя соблазненная и растоптанная.

Совсем недавно я смотрел итальянский сериал «Хорошие матери», мрачный, но довольно важный как актуальное высказывание. В нем говорится ровно об этом: как замкнутый и самодостаточный мир итальянской семьи с его незыблемыми традициями (роль матери, роль жены, роль отца, роль ребенка — все расписано по нотам столетиями назад) на наших глазах превращается для современной женщины в ад.

И дело не в привычном криминальном фоне — а именно в столкновении «традиционных ценностей» с современной жизнью. Убивает людей не мафия и ее мораль, убивают именно они — эти ценности, неразрывно с этой моралью связанные.

...Джильда в постановке Альбанезе таким образом оказывается почти физически (и уж точно психически) разорвана столкновением двух мужских характеров: Риголетто (Людовик Тезьер) и Князь (Юсиф Эйвазов). Оба абсолютно безжалостны в своей «любви», которая оборачивается жестокой казнью женщины. К слову сказать, и тот и другой — исполнители мирового уровня, и сегодня едва ли не ведущие в своих оперных амплуа. Поэтому и столкновение у них — беспощадное и великое.

Хотя при этом остается один важный вопрос.

Все-таки «Риголетто» всегда был спектаклем о власти. О ее пределах. О ее жестокости. Об отношениях господина и слуги. Об аристократе, всесильном бюрократе, «олигархе», «начальнике», которому все позволено, и о его шуте, который настолько дорожит своим положением в этой иерархии, что неосознанно жертвует

самым дорогим. Как говорят сейчас политологи, об отношениях внутри элиты, о «клиентелле» и хозяине, о беззаконии, коррупции, о праве сильного, о бесправии слабого. Тоже довольно важный сейчас сюжет. Но в этой постановке «Риголетто» он отступает на второй план — гораздо важнее оказывается «мысль семейная», мысль о традициях и обычаях мужского мира, об угнетении женщины и, еще раз повторюсь, о том, как это всё связано с итальянским обществом.

Привычная для «Риголетто» тема неудавшегося бунта, тема борьбы с диктатурой и диктатором уступает теме мести. Вендетте, всепоглощающей ненависти, слепому семейному долгу.

Красота вердиевских арий (дирижер Марко Армильятто), золотая сладость этих напевов становится лишь контрастом, оболочкой тяжелого и неразрешимого общественного конфликта.

Прямо скажем, неожиданно...

Тем более неожиданно, что параллельно с этим социальным «Риголетто», в той же фестивальной афише, теми же днями — шел на сцене «Арена ди Верона» совершенно другой, привычный для фестивального формата спектакль: «Аида» Верди с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым в главных ролях.

Мне довелось посмотреть его в записи, также как и другую недавнюю премьеру «Аиды» — в Баварской национальной опере.

Две разные «Аиды». Два разных понимания задач оперного искусства. Сравнить было интересно.

«Аида» в Вероне — выдающаяся по изысканности, изощренности, виртуозности постановка. Некий сплав высоких технологий, футуристического дизайна, острой высокой моды — и обычных оперных компонентов: звука, оркестра, исполнителей. Невероятно эффектное и причудливое зрелище. Трансляция спектакля, судя по титрам, стала очень важным событием на итальянском телевидении, а судя по откликам в соцсетях — на премьеру поспешили первые лица итальянской политики и культуры.

Лазерные лучи разрезают черное небо, безжалостно режут его на кусочки, над ареной возвышается гигантская пятерня, составленная из светящихся конструкций — и пальцы на ней жутковато шевелятся во время каждого нового действия.

Веронские постановки отличаются гигантским количеством людей на сцене — так что почти каждая нота спектакля отражена в причудливой хореографии, с танцующими на сцене сотней-другой артистов, и каждый из них как правило еще держит в руках свою светящуюся конструкцию, переворачивая ее в воздухе и создавая эффект мощного коллективного перфоманса, совершенно отдельного от самого спектакля. (Режиссёр и одновременно создатель сценографии, светового решения, костюмов и хореографии, что само по себе уникально, — Стефано Пода).

Тела исполнителей превращены в «палитру художника» — например, то, во что превратили тело Анны Нетребко (Аида), или Радамеса (Юсиф Эйвазов), со всеми этими кислотными красками на лице и иероглифами на теле, очень хочется рассмотреть подробней, ведь это само по себе какое-то отдельное послание.

Справедливости ради должен сказать, что наиболее слабое место спектакля (в его телевизионной ипостаси) — это трансляция, телережиссура. «Дорого-богато» это, как известно, не всегда хорошо: камера слишком много перемещается, летает, камер слишком много, и каждый ракурс режиссеру трансляции жаль потерять, поэтому порой все превращается в кашу и возникает ощущение, что чего-то главного ты не увидел.

При такой сложности и насыщенности того, что происходит на сцене, — на исполнителя падает какая-то адская ответственность. Его попросту должны услышать и понять, что нелегко при таком визуальном давлении.

В этом смысле Анна Нетребко, конечно, остается на бескомпромиссной профессиональной высоте. Вообще в последние годы ее фигура оказывается замешана в скандалы, многие ее возненавидели, причем с разных сторон, в Нью-Йорке ее ожидает уже второй суд — и это очень жаль, поскольку, даже пережив пик своей славы, пережив самые разные жизненные потрясения, она остается одним из главных действующих лиц мировой сцены и непревзойденной актрисой. И именно в этом своем качестве, а не в каком-то другом, она заслуживает нашего внимания. Что и доказала в очередной раз блистательно — на сцене «Арены-ди-Верона».

Баварская опера показала совершенно другую «Аиду», что логично, — здесь иначе понимают и театральные задачи, и оперную эстетику.

Мы оказываемся в школьном спортзале, с простреленной крышей, где живут беженцы или пленные. Идет война, эти дыры от снарядов и эти кое-как одетые люди, ночующие на полу, — не оставляют для фантазии зрителя никаких вариантов: это именно сегодняшняя война и сегодняшний мир (режиссер — Дамиано Мичелетто, художник Паоло Фантин). Кстати, что-то подобное показала недавно Берлинская опера в постановке прокофьевской «Войны и мира» режиссера Дмитрия Чернякова. Там тоже беженцы, живущие то ли на вокзале, то ли в каком-то общежитии. Но схожесть взгляда и даже приема — не раздражает. Мировая трагедия не может стать привычным театральным штампом. Она остается главной темой и главным вызовом для художника — в любой трактовке и на любом материале.

Аида (Елена Стихина) — невероятно убедительна именно в роли жертвы войны, в роли женщины, которая раздавлена и убита обстоятельствами происходящей катастрофы. Нет, это не ужас, не отчаяние, не депрессия, хотя всё это присутствует в рисунке роли, — скорее это готовность приносить всё новые жертвы, чтобы выжить, способность адаптироваться к обстоятельствам, к которым адаптироваться вообще невозможно, и при этом приходить на помощь, сострадать, любить, чувствовать.

Я впервые увидел эту актрису в постановке баварской «Аиды», соответственно, увидел только на экране, и меня поразила сама ее естественность, женский характер, лицо, глаза... Глаза женщины, которая умеет страдать, но оставаться не сломленным человеком.

Кстати, Стихина, воспитанница Мариинского театра, наряду с другими исполнительницами играла и в веронской «Аиде», после Анны Нетребко, и это тоже любопытно — как ей удалось справиться, не с музыкальной партитурой, конечно, а с режиссёрской.

Ведь Аида Анны Нетребко — это все-таки прежде всего сильный характер, женщина, вокруг которой кипят страсти, благодаря которой рушатся царства, изменяется сам ход истории. Аида Елены Стихиной — «человек из толпы», одна из нас, человек, которого история приносит в жертву.

Я не буду углубляться в нюансы обеих постановок «Аиды», пытаться пересказать «режиссёрский сюжет» и замысел. Но интересно, что почувствовал, что понял европейский зритель в том и этом случае, какие мысли возникли у него после того, как условный занавес закрылся?

Веронская «Аида», на мой взгляд, — спектакль о всемирном Апокалипсисе, космическом Судном дне, о катастрофе, которая может быть при этом невероятно красива.

Баварская — о том, как катастрофа врывается в нашу обычную, бытовую, устроенную, комфортную жизнь и взрывает ее. Но и в том, и в другом случае речь, вообще говоря, об одном и том же. Об испытании человеческого материала. Испытании на прочность, на силу, на верность своим идеалам.

Summary

Alexander Zaitzev. Locus Coeruleus

This long short story brings the reader back the 1990-s which everyone was going through in one's own way: from the happiness acquired at last till the end of the world. The protagonist of this story goes through this time span in his own way: horror, the joy of liberation and the humor of the universe are mingling in his life.

Nickolaj Verevochkin. The Hero with No Star

"Lenin was driving to Novostarovka in a «ЗИЛ» lorry. The head of the ruler was protruding into the emptiness over the backboard of the truck body. Inspiringly squinting Lenin was looking with his mischievous bronze eyes at his cap jammed in his right hand". This story sounds as a vigorous requiem for the guileless age when – funny and sad! – the "ideological operation" of transporting the monument from one godforsaken village to another turned out a phantasmagoria with participation of committed militiamen and one irresponsible cow.

Poetry

The intonation of the civic lyrics is breaking through the verses of Maxim Glazoon. The sharp eye and ear of Hanna Shevchenko are detecting the details of the everyday life which usually hardly contacts poetry. The ordinary life, its "landscape" and "sound scale" become a natural part of the poems of our debutants Anatolij Arefyev and Alexandra Maligina. The poetical register of Tatyana Stoyanova is quite different, she reminds us that "a poetical line is like forgiveness or like a miracle".

For the first time "the grown-up lyrics" of a wonderful children poet and prosaist Irina Pivovarova is presented in this issue. It's rather a discovery, a new voice in the Russian poetry. Why this discovery is done only now explains her son Pavel Peppershtein. Under the heading "The Life in Literature" he tells about the life and works of his mother.

"Non-Fiction PRO"

This time the host of this regular section Alexander Chantzev is meditating over the philosophy of Vladimir Bibihin and Georgij Gachev. "If asked about some universal classification of philosophers I would distinguish three categories. Those who interpret others while creating their own philosophy. The, so to say, classical philosophers. And the so called verbal philosophers – those who fulfill themselves in the conversation, not in sermons or lectures but in free talks. Their thoughts are mostly nonconventional, free and essayistic. And interesting".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**ДРУЖБА
НАРОДОВ**

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
АЛЪМАНАХ
ДОЖДЕВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1953

**Дружба
народов** 12
1978

**Дружба
народов**
12
1978

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
12
1968

**Дружба
народов** 12
1968

**Дружба
народов** 12
1968

**Дружба
народов** 86
1968

**Дружба
народов** 12
1968

**Дружба
народов**

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
1
1939

**ДРУЖБА
НАРОДОВ**
1/2018

**Дружба
народов**
1/2018

**11/2023**

Читайте:

**Мария Габрилович. Коля Данелия,
или Почему я не стала великой актрисой**

« — Дочь, — любила повторять мама, — больше никаких актрис, никаких театральных и киношных ВУЗов, никаких творческих мастерских. Никогда! Поваром, геологом, врачом — пожалуйста. Но только не актрисой!

В восемь-девять лет мне было совсем не понятно, зачем эти ежедневные мантры. Но я росла. Была довольно обаятельна, непосредственна и часто с мамой ходила в ресторан «Дома Кино». Это была ее тактическая ошибка. На следующий день нам непременно звонила ассистентка какого-нибудь режиссера и вкрадчиво произносила:

— Майечка, давайте вашу Машу попробуем на роль девочки Клавы (Иры, Насти). Она так похожа на нашего героя (киношного папу то бишь).

— Ну хорошо, попробуйте, — вежливо отвечала мама.

— Майечка, Машенька очень органична. Мы ее утвердили!

Но судьба Машеньки мамой была уже решена. На три месяца в пионерский или спортивный лагерь. На три!

— Мам, а как же кино?

— Маня, твоего «папу» не утвердили на роль. А на того актёра, который прошел пробы, ты совсем не похожа. Да и сценарий, дочка, так себе!

Меня утверждали на роли и довольно известные режиссеры, однако итог был один:

«Машенька заболела» или «отец увез Машу отдыхать». Пока... Пока в нашей творческой жизни не появился Коля Данелия. Сын Георгия Данелия и Любви Соколовой (тети Любы), наш сосед...»

